

В Военные
П приключения

ТИХАЯ ЗАСТАВА



ВАЛЕРИЙ ПОВОЛЯЕВ

Военные приключения

Валерий Поволяев

Тихая застава

«ВЕЧЕ»

Поволяев В. Д.

Тихая застава / В. Д. Поволяев — «ВЕЧЕ», — (Военные приключения)

Российским пограничникам, служащим на таджикско-афганской границе в смутные 1990-е годы, становится известно о том, что бандформирования готовятся напасть сразу на несколько застав. Для российской армии наступили не самые лучшие времена, поэтому надеяться пограничникам приходится лишь на собственные силы... Новые произведения известного писателя Валерия Поволяева, как всегда, держат читателя в напряжении до самой последней страницы.

© Поволяев В. Д.

© ВЕЧЕ

Валерий Поволяев

Тихая застава

Этого чернобородого, с быстрыми светлыми глазами человека капитан Панков заметил в кишлаке и сразу обратил на него внимание. Во-первых, раньше он не видел его, а во-вторых, очень уж проворный был этот человек – весь в движении, словно ртуть. Лицо – резкое, точеное. От уголков носа ко рту, в жесткий смоляной волос бороды опускаются две твердые складки – словно два багра. Или два копыя. Глаза – прозрачные, с медовым отливом, холодные, как горная вода, и что за рыба в этой воде плещется – сразу не поймешь. А может быть, не поймешь и никогда: человек этот был непростой. Сложный...

Интересно, почему это у нас повелось говорить про паршивого человека – сложный? Сложный, мол, человек... А чего в нем сложного, собственно, кроме гнили в желудке да желчи в сердце? Нет, не перевелись все-таки деликатные словотворцы в конце двадцатого века.

Чернобородый вышел из-за глиняного дувала прямо на пограничников, но назад, в дувал, не попятился, прятаться не стал, коротко и смело глянул на Панкова, сразу вычислив в нем командира, потом пробежался глазами по его бедной амуниции, усмехнулся едва приметно.

Панков со своим напарником сержантом Дуровым неспешно прошествовал мимо – хоть они и чужие на этой земле, к России уже никакого отношения не имеющей, – Таджикистан стал суверенным государством, только очень уж много кашля от этого суверенитета, – а все-таки хозяева тут они, пограничники, погранцы, – они, а не этот чернобородый душман.

Только душман ли он? Вдруг это выпускник университета из Душанбе, который приехал в кишлак просвещать здешних темных жителей по части алгебры с геометрией? Или какой-нибудь чин из Верховного Совета республики? Либо муфтий Таджикистана?

– Кто это был, бабай? – спросил Панков у бабая Закира, с которым успел установить добрые отношения.

Пару раз выручал Закира соляжкой, один раз дал десять литров, в другой раз – пятнадцать, хотя сам считал соляжку по каплям, готов был разливать ее пузырьками, стопками, как водку – продукт, кстати, еще более редкий на границе, – и каждому пузырьку вести строгий учет, записывать расход в журнал. Но бабаю соляжку дал, поскольку знал – в кишлаке с горячим и с продуктами дело обстоит хуже, чем на заставе.

– Это? – бабай Закир помял пальцами воздух, словно бы соображая, что же ответить капитану, усмехнулся чему-то своему, далекому. – Горный таджик это, вот кто.

Горные таджики – особая нация в Таджикистане. Говорят, что это осколок арийской расы – светлолицые, светлоглазые, с тонкими европейскими лицами, они никак не походят на равнинных таджиков – тех же кулябцев или гиссарцев, к примеру. Горные таджики – это горные таджики...

Они жили много беднее равнинных таджиков и ненавидели их за свою собственную бедность: ведь в горах, кроме снега, камней да льда, ничего нет, а внизу, в долинах, растет виноград, растут огромные сахарные дыни и разные овощи, земля дает хороший хлеб и хлопок, она вообще дает все – земля здешняя такая, что воткни в нее, как говорят, пластмассовую расческу – обязательно вырастет слива или другое дерево, побогаче сливы; земля же вверху совсем иная – много требует и мало дает.

Впрочем, горных таджиков сейчас осталось всего ничего и разбросаны они по всему Памиру.

– Горный таджик – понятие растяжимое, бабай, – сказал Панков, – откуда он конкретно? Из какого кишлака? А может, он из города, – не знаешь, бабай?

– Не знаю, к сожалению, капитан.

– Ну кто он хоть, друг или недруг? Хороший человек или плохой, редиска, как говорил у нас один герой в очень популярном фильме, или нет? Кто?

– Наверно, это самое, капитан... редиска! Репа. Рад бы тебе сказать, что он хороший, да... – бабай красноречиво развел руки, вздохнув: – Хочешь чаю по-дунгарски, капитан, а? Настроение улучшает, здоровье укрепляет, в голову мысли хорошие приходят...А?

Панков отказался от вкусного дунгарского чая – не до того было, да и вообще уже пора возвращаться на заставу. Глянул внимательно на Закира.

– Больше ничего сказать тебе не могу, – бабай Закир приподнял тюбетейку, почесал бритую макушку, – поскольку сам еще не знаю.

– Но человек-то он в кишлаке посторонний...

– Посторонний, – согласился бабай Закир, – хотя и имеет тут одного родственника...

Капитан не стал торопить бабая Закира с ответом, глянул только на часы: времени у него было уже в обрез.

– Утеген Утепов доводится ему кем-то близким, – сказал бабай Закир.

Утеген Утепов мало чем отличался от остальных дехкан – ходил в таком же рваном халате и в промасленной тюбетейке, до перестройки работал трактористом на колесном «Белорусе», совхоз платил ему довольно приличные деньги, а потом все покатило в тартарары – не стало ни совхозов, ни денег... В Таджикистане долго ходили старые советские деньги, а потом Москва прислала целый самолет новых, уже ельцинских рублей, но до народа дошли почему-то только пятисотрублевые бумажки...

Панков знал, что в некоторых кишлаках даже через несколько лет после развала СССР ни разу не видели новых российских рублей, хотя Таджикистан оставался в рублевой зоне, – эти деньги до них просто-напросто не дотянулись, ручей иссох раньше, на полдороге, среди коммерческих палаток пригородов Душанбе и крупных городов. Утеген-механизатор не был окрашен ни в какой цвет – ни в зеленый, ни в белый, ни в красный, – тихий как мышь, неприметный, бедный, с кагалом детей и зачумленной, носатой, по-вороньи горластой, с десятком длинных засаленных черных косичек женой, прозванной Мухой. Муха – сокращенно от ее имени Мухабад, а Мухабад, как знал капитан, в переводе на русский означает «любовь». Значит, Муха – это Люба.

– Ладно, бабай Закир, нам пора на заставу. – Панков обнял поднявшегося с тюфяка бабая, похлопал его по спине.

Тот в ответ похлопал по спине капитана Панкова.

Застава Панкова занимала каменистый аппендикс, на котором высились два тощих пирамидальных тополя – больше тополей не выросло, семена не зацепились за камни, не смогли. Когда-то здесь тянули дорогу и строители поставили на аппендиксе несколько балков – тут и вода рядом, и обдув есть, что очень важно: если в других местах людей добивают комары, то здесь ветер сносит их в сторону, отесняет к расщелине, в которую с ревом уносится мутная пиявжская вода, и дышать тут немного легче.

Комары здесь не дают жить ни людям, ни зверям, обгрызают до костей, выпивают кровь, и бывает, что от иного человека остается только кожа, в которой, как в мешке, бренчат кости. В общем, место это было неплохое, и, когда строители ушли, на аппендиксе поставили заставу. Строители по ведомости передали пограничникам свое имущество, то, что пограничники не приняли – бросили: все равно ведь не нужно, на прощание прокричали что-то по-таджикски, добавили по-русски: «Держись, погранцы, в-вашу мать!» – и исчезли.

«Погранцы» начали обживать аппендикс. Балки оказались гнилыми, сплошь в дырье, их надо было обшивать деревом, два длинных, схожих с хлевами дощаника тоже требовали доделки, туалета не было вообще – доблестные труженики в тюбетейках предпочитали обходиться кустами, бани тоже не было.

Начальник заставы, у которого Панков принял дела, кое-как залатал дыры, один из балков определил под баню и дальше заниматься благоустройством не стал – не до того уже было, началась война, а потом и вовсе угодили в госпиталь – не выдержал того, что видел, произошло помутнение в мозгах. Такое, увы, случается и с пограничниками.

Приняв заставу, Панков первым делом проверил жилье солдат, потом столовую и баню. Собственно, баню осмотрел даже раньше, чем столовую, поскольку знал: когда солдат намерзнется в горах и стужа проникнет в кости, спасти солдата может только баня – без бани солдат уедет на родину изогнутым, горбатым, скрипучим от ревматизма, прострелов и знаменитой дворянской болезни люмбаго, и дома, пока не вылечится, не будет слезать с больничного листа – как сядет на него верхом, так вряд ли и соскочит. Если, конечно, врачи не подсобят.

Прибыл Панков на заставу в начале января, в банный день, предупредил старшину:

– Сегодня пойду со всеми в баню.

– Не ходите только первым, товарищ капитан, – неожиданно предупредил тот.

– Почему? – Панков нахмурился.

– Ну как сказать, товарищ капитан... У нас последующие моются на тепле первых.

– Что-то я ничего не понял.

– Как вам сказать, товарищ капитан, – старшина замялся. – В общем, для этого надо сходить в баню – тогда все станет понятно. Первые у нас идут только по жеребьевке.

– Ничего себе, – сказал Панков и пошел в баню первым. Без всякой жеребьевки.

Разгадка была проста: все тепло из бани довольно скоро уходило в разные щели и дыры – в старом непроконопаченном балке оно почти не задерживалось. И только когда доски в балке разбухали, утечка делалась меньше. Балок надо было не только изнутри обшивать досками, но и делать хорошую прокладку из утеплителя, подгонять дверь, чтобы не было щелей... Но где достать доски, где взять стекловату – лучший, как известно, утеплитель, – где взять обычные гвозди, в конце концов, не говоря уже о гвоздях деревянных, дорогих, потому что полки в балке надо скреплять шпоном – дубовыми клинышками, железный же гвоздь может оставить на заднице ожог.

Нет, ничего этого не достать в Таджикистане, бывшем когда-то таким теплым, дружелюбным, а сейчас – враждебным, затаившемся с ножом, зажатым в руке за спиной.

Надо было что-то придумывать, искать материал под ногами.

В баню Панков пошел вместе с сержантом Дуровым. В железной бочке, поставленной на печку-буржуйку, слабо потрескивали битые изоляторы, снятые с поваленных электрических столбов, – они держали жар лучше камней. Здешние камни, раскаляясь на огне, трескались с винтовочным грохотом, плевались осколками, – осколки эти людей не щадили, жалили, будто пули, поэтому колотые изоляторы были самым подходящим материалом для печи.

Все остальное вызвало у Панкова некий приступ зубной боли. Баню надо было делать. Холод в бане стоял собачий, вода, выплеснутая на изоляторы, мигом превращалась в крапивное облако пара, обжигала кожу, выбивала из глаз слезы и в ту же секунду вытягивалась в невидимые щели. В бане вновь делалось холодно.

– Как же вы тут паритесь, сержант? – не выдержал Панков, глянув на покрытые куриными пупырышками плечи Дурова. – Тут же воспаление легких можно получить в несколько минут.

– И коклюш тоже, – у Дурова была треснута нижняя губа, сочилась кровью – не только губы, бывает, все лицо сечет до крови злой здешний ветер, дырявит тело, пытается выдавить глаза, ноздри забивает снегом и каменной пылью так, что не продохнуть, – из-за треснутой губы Дуров не мог улыбаться, вместо улыбки у него жалко подергивались уголки рта. – Зато следующим, кто пойдет за нами, будет лучше, – сказал он.

Теперь Панкову окончательно стало понятно, о чем говорил старшина, он хмыкнул и с досадою покрутил головой: хорош гусь, этот старшина, вместо того, чтобы самому заколотить щели, заткнуть тряпками дыры, он предупреждает... Вот дипломат ленинской школы!

Из бани вылезли полувымытые, мокрые, следом за ними в баню нырнула очередная пара, более довольная, чем Панков с Дуровым: капитан с сержантом немного нагрели «парилку» – хоть зубами стучать не будут.

– Баню надо делать, – сказал капитан, – и чем раньше – тем лучше. В первую очередь.

Так он и поступил. О том, как Панков делал баню, – речь особая.

...В этот раз он также пошел в баню с сержантом Дуровым и тремя другими солдатами, заступающими в наряд, – озабоченный, молчаливый, обдумывающий встречу с памирцем и разговор с бабаем Закиром. Памирец появился в кишлаке неспроста.

На улице уже было темно, в горах всегда быстро темнеет, – тяжелое черное небо опустилось на хребты, скрыло в своей плоти округу, удушило, сжало в тисках землю, только с Пянджем никак не могло справиться – река, расположенная рядом с балками, метрах в сорока всего, беспокойно ворочалась, бурчала, клекотала недовольно, затихала, но потом словно бы пробуждалась вновь с громким захлебывающим звуком, будто пьяный мужик, подавившийся собственным храпом, пробовала высвободиться из черных тисков, напрягалась, но не тут-то было – ночь оказывалась сильнее реки. Было холодно, с заснеженных угрюмых вершин, скрытых темнотой, принесся секущий, пробирающий до костей ветер, такой острый, что от него невольно заныли зубы, – и, несмотря на холод, – душно.

Не хватало воздуха, дыхание прерывалось, что-то осекалось в легких, вызывало неудобство, внутреннюю оторопь; капитан не сдержался, закашлялся, вопросительно глянул вверх: что там, в небе?

Небо было по-прежнему черным, удушающе гулким, пустым – ничего в нем не изменилось, – ни одной звездочки, ни единой блестки, хотя звезды в горах всегда бывают крупные, сочные, влажно переливаются, подманивая к себе кого-то – наверное, души человеческие, – и вряд ли что изменится в ближайшие часы.

Из головы никак не выходил памирец. Зачем он сюда приехал? Поди проверь... Это раньше можно было проверить, когда существовал Советский Союз. Сейчас Союза нет, а Россия к Таджикистану имеет такое же отношение, как Аргентина к Румынии, это у себя в России можно проверить документы у любого гражданина, если он не понравился, а здесь, в Таджикистане, не очень-то проверишь. Вот времена наступили! А когда этот приезжий памирец возьмется за автомат – проверять будет поздно.

С другой стороны, сейчас на дворе март, самое начало, боевых действий пока быть не должно – перевалы закрыты. Если кто-то и затеет стрельбу, ввяжется в бой – вряд ли получит подкрепление: ходить через перевалы по снегу еще ни один душман не научился.

Но скоро, очень скоро все начнется. Весна в горах бывает бурная, снег тает быстро – как начнет таять, тогда и забряцают оружием разные чернобородые люди с яростными глазами и печеными от крепкого здешнего солнца лицами.

– А тишина-то, тишина, товарищ капитан, – даже дизеля не слышно, – задумчиво проговорил Дуров. – Дизель обычно всегда бывает слышно, а сейчас нет.

– Дизель стоит в бетоне, закрыт хорошо, да потом воздух – тяжелый, сырой, плотный, в таком воздухе все гложет, все звуки. И Пяндж обычно ревет так, что хоть танковый шлем на голову натягивай, а сейчас вон – стыдливым стал, как невеста, едва-едва бормочет. Словно бы голоса у него нет, один шепот остался.

– Ночь и его задавила, товарищ капитан.

– Пора в обход, а потом спать, – сказал Панков сержанту. Крикнул в темноту: – Чара!

На окрик принеслась крупная остроухая овчарка, села на камень около капитана. Чару Панков привез с Большой земли, из России, взял щенком величиной с варежку, выходил, когда она заболела, вырастил – в результате хороший пограничник получился, ни одному солдату не уступит, и вообще, если бы не Чара, Панкову жилось бы намного труднее. И уж скучнее, это точно.

– Как только ребята в бане отмоются – дизель надо заглушить, – сказала Панков, – передай это старшине.

Застава продолжала сидеть на голодном пайке. Норма существовала одна: чем меньше они будут жечь горючего – тем лучше, чем меньше есть – тем лучше, чем меньше тратить патронов – тем лучше... И так далее. Россия о них словно забыла – о пограничниках, оставленных ради исполнения каких-то высоких государственных целей в Таджикистане, – бросили на произвол судьбы, как нечто ненужное, мешающее, лишь впустую занимающее место в доме, почти не присылает Россия ни денег, ни еды, ни патронов, ни людей для пополнения, ни горючего для машин – нич-чего! Только начальственные указивки да призывы держаться...

А как держаться? И без того они держатся на честном слове. Солярку считают по каплям, патроны по штукам, хлеб по кускам – по одному куску на день, норма, как в блокадном Ленинграде в годы войны, соль – по щепотям...

Хорошо, хоть здешняя живность выручает – дикие кабаны, которых местные жители-мусульмане не едят, горные козлы да дикобразы. Мясо у дикобразов очень вкусное. Котлеты из дикобраза – пальчики оближешь, пельмени – еще лучше.

Кстати, еда на кухне кончилась, завтра придется снова идти на кабана. И не дай бог, попадется какой-нибудь заразный, с трихинеллезом, с солитером или личинками неведомой звериной пакости – тогда денег у всех пограничников не хватит, чтобы вылечить одну заставу. Но делать нечего, на кабана идти придется – есть-то что-то надо!

От заставы в кишлак вела единственная дорога – узкая, по которой едва проходил бронетранспортер, и то в нескольких местах, где надо было поворачивать, задевал задом либо боками за камни, плотно подступающие к дороге, – слишком громоздка, сильна и неуклюжа была машина, – эту дорогу Панков приказал на ночь минировать. Сигнальными минами. Вреда от сигнальных мин никакого – если только какой-нибудь бабай от хлопка штаны обмокрит, а пользы много: застава будет знать, что ночью к ним кто-то идет. Главное – знать, а уж вопрос о встрече – это вопрос другой. Можно и компот приготовить для незваного гостя, а можно и пулеметную ленту. Хотя по ночам добрые люди в гости не ходят.

Еще по паре мин Панков решил поставить на обводных укороченных тропках, также ведущих в кишлак, – и эта мера предосторожности не мешает.хлопот только много – вечером ставить мины, утром снимать.

Кишлак жил так же голодно, как и застава: в ином доме даже пару лепешек испечь было не из чего. А в доме – дети. Их у таджиков бывает много, не то что у русских. Тут по одному-два ребенка, как у нас, иметь не положено, положено иметь много детей – как минимум восемь – девять человек. Ну а максимум никто не определял – чем больше, тем лучше, ограничений нет. И все пищат, все кричат, все просят есть – забот больше, чем с целой заставой. Панков рад бы помочь кишлаку, но сам каждую щепоть крупы держит на учете, от постоянного, сосущего, словно застарелая болезнь, чувства голода живот уже слипся, щеки и глаза ввалились. Панков иногда смотрел на себя в зеркало и не узнавал, это был он и не он одновременно: брови взлохмаченные, глаза словно бы из темных колодцев просвечивают слабыми, едва живыми огоньками – в каждом зрачке будто бы по маленькой коптюшечке зажжено, волосы на висках поседели, хотя лет-то капитану всего ничего – двадцать пять и до седины тянуть надо еще как минимум лет двадцать. Но нет, Панков уже седой.

Он пробовал отпустить усы, но с усами не понравился сам себе, не то чтобы какой-нибудь женщине, – душман какой-то, а не русский офицер, – и сбрил их. Конечно, вид у него и у ребят, несущих службу на заставе, был бы другой, если бы имелась еда. Но еды не было. Ни на заставе, ни в кишлаке. Люди и тут и там добывали старые запасы, да еще пользовались тем, что удавалось сшибить на горной тропе либо выловить из ледяной воды Пянджа.

На этот раз Панков пошел в кишлак с рядовым Кирьяновым – смешливым, конопатым, как дикое птичье яйцо, питерцем, все лицо у Кирьянова было крапчатым, брови и ресницы – медные, в светлину, а голова – рыжая, как огонь, прикуривать можно. Ребята прозвали Кирьянова за огненную голову Трассером. Трассер был не только смешлив, но и болтлив, с ним было весело идти.

Пока шли в кишлак, Кирьянов все приставал к Панкову:

– Товарищ капитан, скажите: маленький, серенький, на слона похож... Кто это?

– Поросенок.

– Неверно. У поросенка нет хобота.

– Тьфу. А я думал, это что-нибудь из загадок девятого круга ассоциации, а у тебя, как оказывается, что-то совершенно реальное. Пивка.

– Неверно.

– Камень с берега реки Пяндж, с дыркой, похожий на слона. С хоботом и хвостом.

– Неверно, – безжалостно произнес Трассер.

– Тогда кто же?

– Слоненок. А почему, товарищ капитан, штатские ходят в ботинках, а военные в сапогах?

– Не знаю. Так принято, Кирьянов.

– Неверно. Штатские в ботинках, а военные в сапогах ходят по земле.

Так в шутках, в прибаутках, в перескоках с камня на камень и дошли до кишлака. По дороге Панков засекал все, что видел, всякую мелочь: вот яркий оборванный проводок попался по пути – валялся на обочине в тридцати шагах от того места, где пограничники ставили сигнальную мину, – откуда он? Неужели ночью к заставе кто-то шел и останавливался на этой черте? К чему, как, к какой конструкции был прилажен этот заморский – явно не отечественного производства, – проводок? К какому такому фугасу?

А вон стреляная гильза валяется, потускневшая, с позеленевшими боками, от пистолета Макарова. Откуда здесь гильза?

На разъездной площадке, где могли разъехаться два «уазика» – на такой узкой дороге обязательно должны быть разъездные площадки, иначе машинам не разойтись, – сырое, похожее на масляное, пятно. Что за пятно?

Так что разной мелкоты, вопросов этих незначительных, по дороге возникало много. К сожалению, их было больше, чем ответов.

Едва войдя в кишлак, пограничники столкнулись со светловолосой, сероглазой, очень красивой девушкой, неважно, как и все здешние жители, одетой – в свободно-бесформенный полосатый халат и старую душегрейку. Девушка, увидев мужчин, привычно подняла край платка, закрывая себе лицо. Так было принято в кишлаке, и она подчинялась здешним законам.

«Мам-ма мия! – внутренне охнул Панков. – До чего же хороша, зар-раза! И откуда взялось это диво природы в этих мрачных горах, среди черных, как смоль, людей? Ну будто речка Каменка!» – у Панкова в детстве имелась памятная речка Каменка, он дважды отдыхал на ней пацаном, в пионерском лагере – хотя и считалась речка Каменкой, а в ней ни одного камня, ни одного гольша не было – сплошной золотистый песок. И сама она была светлая-светлая. «Мам-ма мия!» – еще раз внутренне охнул Панков.

– Юлия! – обрадовался, увидев девушку, Трассер. – Товарищ капитан, вы с Юлией разве не знакомы?

– Нет, как-то не довелось, – смущенно пробормотал капитан.

Юлия была диковата, воспитана, похоже, в местных традициях, по которым женщина не считалась человеком – лишь довеском, не самым достойным, хотя и необходимым приложением к бритоголовому и редкобородому, обутому в пропахшие потом галоши мужчине – какому-нибудь Юсуфу, Мурзе или Хабибулло. Она отстранилась от Трассера, который беспече-

ремонтно раскинул обе руки в стороны, словно бы желая поймать девушку, косо глянула на капитана и произнесла тихим ровным голосом:

– Здравствуйте!

Панков, будто бы вспомнив свое прошлое, военное училище со строевой муштрой, ловко щелкнул сбитыми растрескавшимися каблуками своих десантных ботинок и стремительно поднес пальцы к старой выцветшей панаме:

– Капитан Панков Николай Николаевич! – представился он. Добавил: – Здравия желаю! – Почувствовал, как у него защемило, сжало сердце: что же делает здесь эта девушка со славянской внешностью? Славянам же здесь жить просто противопоказано. Даже служить и то непросто, не то чтобы жить, но ни у него, ни у Трассера выбора нет – они при погонах, но у Юлии-то выбор должен быть! Или нет?

Юлия еще раз взглянула на капитана – Панков отметил, что глаза у нее серые, тяжелые, спокойные, по ним трудно прочитать, о чем думает человек, – пошла по тропинке к крайнему дувалу.

– Красивая, правда? – тихо, чтобы не слышала Юлия, сказал Трассер. – У нас ребята пробовали к ней подкатиться, даже домой, в Россию, хотели увезти – она ни в какую.

– Очень красивая, – согласился с Трассером капитан. – Только раньше я ее что-то не видел, хотя я здесь нахожусь уже два с лишним месяца.

– Она на люди не выходит, боится местных. Потому и не видели, товарищ капитан.

– Интересно, что ее тут держит?

– Предыдущий начальник заставы – перед вами что был, – тоже к Юлии подкатывался, слюнями, извините, истек, – а Юлия нивкакую. Что ее тут держит? Бабка. Бабка у нее здесь живет, – совершенно чудовищный экземпляр. Страшна, как две роты арестантов, выстроенных в ряд...

– Русская?

– Русская, хотя веры нерусской – мусульманка. На фронте когда воевала, познакомилась с таджиком, чем-то он ее взял. В общем, привез он ее сюда. Но женился только тогда, когда она все обряды мусульманские выполнила и перекочевала в его веру. Но Аллах этой паре не помог – у них не было детей.

– Ни одного?

– Ни одного. Хотя в семьях здешних детей столько, что сосчитать невозможно. В любой дувал загляни – ребятишек, как в районном детском саду.

– А сама Юлия откуда?

– Юлия жила в Душанбе. Училась в университете. На третьем, кажется, курсе началась война. Когда стали убивать русских – убили ее родителей. На автобусной остановке. Подвалила толпа пьяных тибетеек и накинулась на отца – военный, дескать! Мать стала заступаться. Убили и мать, и отца...

– С-суки! – не сдержавшись, выругался капитан, оглянулся на Юлию – та была уже далеко, входила в воротца крайнего дувала, походка у нее была легкой, птичьей, будто у балерины, – казалось, Юлия шла, не касаясь земли. Ни внешность, ни фигуру ей не могла испортить даже самая безобразная одежда.

– Вах! – восхищенно, на грузинский манер, воскликнул Трассер. – Какова порода, товарищ капитан?

– Действительно, порода, – согласился с Трассером Панков, хотя в слове «порода» было скрыто что-то смутное, чужое... Собачье, что ли. Это у Чары может быть порода, а не у Юлии. – А как она сюда попала?

– Бабка Страшила – дальняя ее родственница по отцовской линии. Страшила к ним в Душанбе за покупками ездила, часто останавливалась, а когда началась заваруха, забрала

Юлию сюда, чтобы та отсиделась в кишлаке. Потом не отпустила в Душанбе, посчитала, что опасно.

- И правильно сделала, – сказал капитан. – Может, у Юлии родственники в России есть.
- Говорят, что нет. Раньше были, а сейчас нет.
- И что, из близких осталась только эта Баба-яга?
- Баба-яга, кстати, Юлию сделала мусульманкой. Иначе, сказала, на Востоке не выжить.

И Юлия, говорят, приняла мусульманство. А может, враки все это.

- В Душанбе она не пробовала снова вернуться?
- Пробовала, только от квартиры-то у них один пепел остался. Все сожгли «вовчики» либо «юрчики» – те и другие научились обращаться со спичками, товарищ капитан. В этом вы еще убедитесь.

– Уже убедился, Кирьянов, я ведь здесь, на Памире, в отряде три года.

– Квартира у Юлии находилась в зеленом районе, не в центре, а на окраине Душанбе. Там – полный беспредел, людей жгли вместе с мебелью и книгами. Так поступили и с ее квартирой – вначале разграбили, а потом сожгли.

– Это памирцы, их почерк. Позавидовали городскому богатству, – убежденно проговорил Панков. – Памирцы оказались на редкость завистливыми людьми. Девиз у них был один – грабануть и умчаться к себе, спрятаться в норе. В иных дувалах на Памире стоит по пятнадцать ворованных машин. Да каких! «Скорая помощь», поливалки, машины для вывоза дерьма, бензовозы с мазутом, которые никогда уже не отмоешь, – они ничем не брезговали, все тянули. Вы, Кирьянов, в Душанбе бывали?

– Мимо проследовал. Без заезда, товарищ капитан.

– Странно, а мне показалось, что бывали, – больно уж убедительно говорите.

– Это я за Юлию переживаю.

– Русские сейчас действительно только в центре Душанбе живут, с окраин съехали – на окраинах по-прежнему убивают. А в центре наш танковый полк стоит, там же – штаб двести первой дивизии, русские к ним и жмутся. Больше надеяться им не на кого, защиты у них нет.

– Ох, и времена наступили, товарищ капитан!

– Поганые!

Дальше они шли молча. Так молча и свернули в дувал бабая Закира.

Чернобородый, светлоглазый памирец еще находился в кишлаке – бабай Закир видел его сегодня утром.

– Где он может быть сейчас? – спросил Панков.

– Кто знает, – задумчиво протянул бабай Закир, – сидит где-нибудь в дувале, насвой жует, думает.

Насвой Панков однажды пробовал – отвратительная штука: табак пополам с пеплом, но те, кто привыкнет к нему, потом, говорят, до самой гробовой доски отвыкнуть не могут.

– Одно знаю, капитан – пока ты в кишлаке, он из дувала не покажется. Один раз показался – и хватит!

Все дувалы здесь похожи друг на друга, будто лепил их один человек – толстобокие, растрескавшиеся, глина кое-где окаменела, просела, каждый дувал – это маленькая крепость, и что в крепости той происходит – не рассмотреть.

Увидел капитан Юлию – и сердце сжалось от тоски и любви к дому, России, к тому, что осталось там, где-то далеко-далеко за горизонтом, но в душе, в памяти, в теле сидит так прочно, что никакой саперной лопаткой не выскрести, и ножом, будто болевой нарост на дереве, не срезать. Но надо сдерживать себя, не раскисать – размякший человек не способен сопротивляться, а здесь, на памирской границе, люди, не способные сопротивляться, погибают. Сердце застучало громко, болью отозвалось в затылке, но капитан быстро одолел себя, спросил бабая Закира ровным, спокойным, почти бесцветным голосом: – А как, бабай, зовут этого памирца?

– Файзулло.

– Файзулло? И никаких фамилий? Больше ничего?

– Больше ничего. Файзулло. Коротко и ясно. Это у вас, у русских, – фамилии, имена, отчества, запутаешься, а у нас главное – не фамилия, а человек. Одного имени достаточно, чтобы жить с именем Аллаха на устах.

– Файзулло, Федька, если по-нашенскому, по-русски, значит. Или Федот.

– Федька, – невольно усмехнувшись, подтвердил бабай Закир.

– Можно по-другому назвать. Фаддей, Феодосий, Феофан, Фрол, Феоний... Но Федька – лучше всего. – Панков тоже улыбнулся: усмешка бабая была необидной, аккуратной, не задела Панкова, – душман этот Федька, редиска, нехороший человек!

Еще одну новость узнал Панков от бабая Закира: ночью несколько человек попытались разобрать колхозный дизель и унести его – сторожа оглушили тракторным шкворнем, хорошо, что череп не пробил, спеленали, будто ребенка, и спокойно приступили к разборке агрегата.

Если бы не раис-бобо – председатель колхоза, которому не спалось, – кишлак остался бы без дизеля.

Здесь, в Таджикистане, пока все сохранилось по-старому – и колхозы, и совхозы, и райсы – главные лица в кишлаках, нового ничего не придумали, да вряд ли новое, даже изобретенное гениальной головой, будет лучше старого.

«Значит, чуть не разобрали двигатель. А куда могли унести раскуроченный, разложенный по болтам дизель? Не в Душанбе же, через заснеженные, закрытые перевалы. И не в соседний кишлак – туда по снегу, по лавинам тоже не пройти, да дизель там окажется все равно, что топор посреди глиняного пола, – у всех на виду. Так куда же должен был уплыть дизель? Явно, за Пяндж, в Афганистан. Через границу. Больше некуда», – вот к такому выводу пришел Панков.

Обидно было: почему же душманы считают границу дырявой, сквозь которую можно проташить что угодно, даже слона с атомной бомбой на горбу? Но ведь это же не так!

Хоть и разгуливался сегодня денек, ветер сгреб остатки облаков, оттащил их в сторону, в ущелья, закупорил там каменные теснины, хоть небо и расчистилось, выглянуло солнце и стало светло, на душе светло не было.

В полдень из отряда прибыл вертолет – старый, с помятыми боками и тщательной железной штопкой на месте дыр, оставленных пулями, «Ми-8» привез несколько несвежих, месячной давности газет из России, – но это в России, в Москве они несвежие, а здесь самые свежие, свежайшие. Панков пересчитал их поштучно – всего было шесть пожелтевших, отпечатанных на не самой высокосортной бумаге газет, – несколько ящиков патронов, ящик гранат, два мешка крупы и два мешка муки.

Солдаты, увидев мешки с провиантом, повеселели:

– С хлебом будем! А то кишка кишке кукиш показывает. Хватит кукишей!

– А мяса нет? – спросил Панков у старшины из штаба отряда, доставившего груз. – Тушенки, консервированной колбасы?

– Что вы, товарищ капитан! Мы уже забыли, как консервированная колбаса выглядит. А что до тушенки, то мы лишь помним, как она пахнет, и все. Да на будущее надемся.

– На нет и суда нет, – неожиданно спокойно отнесся к отсутствию мясных продуктов капитан, – сами добудем.

С вертолетом прибыл сотрудник разведотдела капитан Базиляк – хмурый, со сросшимися на переносице бровями, заикающийся после контузии, полученной в бою с «вовчиками», и плотно сжатым ртом.

– Продукты потом, – он потянул Панкова за рукав, – давай-ка отойдем, капитан, в сторону.

– Ты что, торопишься назад? Сразу обратно? Мы тут охоту на кабанов затеяли. Нашли одну кабанью семейку: папаша, мамаша и трое взрослых боцманят. Собираемся пару боцманят застрелить.

– Святое дело, – Базиляк одобрительно покивал, – особенно когда жрать хочется.

– Так что оставайся! Приглашаю. Горячей печенки попробуешь. На вертеле. С костра.

– Не могу. А новости у меня, значит, такие. Через неделю, через десять дней перевалы начнут таять, раскрываться, через них уже можно будет ходить...

– Да я и сам об этом думаю, в голове дырка уже образовалась. Самое главное время наступает, – при мысли о том, что перевалы скоро откроются, у Панкова внутри возникал невольный холод: рождался крохотный, острый, противно острекающий пузырь, увеличивался, – подросший, он стремительно подскакивал вверх, подкатывался под сердце, торкался в него, будто гвоздь, примерялся – а не вонзится ли? – и лопался, причиняя Панкову боль. И все равно ему казалось, что откроются перевалы нескоро, где-то в далеком туманном будущем. Нет, – скоро.

– Ожидается большое наступление из Афганистана – такие у нас есть данные. Наступление будет идти по трем направлениям, два из них – Душанбе, одно – Куляб.

– И много народу собирается в это... в наступление? – спокойно спросил Панков.

– Много. Несколько тысяч человек. Предположительно – до четырех.

Четыре тысячи душманов, духов, прохоров, душков – как еще величают этих людей? Четыре тысячи... А у Панкова на заставе всего восемнадцать человек.

– Твоя застава попадает на одно из направлений, – сказал Базиляк. Речь у него была неровной, как бы мерцающей, он говорил то лучше, то хуже, иногда вообще не мог говорить – раздавалось сплошное аканье либо оканье – протяжное, беспомощное, с всхлипами. Базиляк мучительно краснел, рот у него обиженно дрожал, на глазах появились слезы, но ничего поделать с собой не мог. Одно утешало: со временем контузия должна была пройти.

– Я это понял, – сказал Панков.

– Тебе будет придано усиление – подвижная группа. Двадцать пять человек.

– Восемнадцать плюс двадцать пять... Итого – сорок три. Не так уж много, если на заставу навалится, скажем, тысяча человек.

– Больше людей нет, – сухо произнес Базиляк. – Никто ничего не даст. Бей не числом, а умением. Как Суворов. Вот и все люди.

– Спасибо! – Панков усмехнулся. – Дожили! – Он хотел добавить что-то еще, но вместо этого лишь обреченно махнул рукой: все разговоры будут пустыми; губы у него дрогнули, выдали состояние хозяина, и Панков вздохнул: – Эх, Россия, Россия!

– Закапывайся в землю, строй дополнительные инженерные сооружения.

– Я и так уж закопан по самую макушку, дальше некуда.

– М-да, – Базиляк помолчал. – А у тебя самого какие-нибудь новости есть?

– Так, кое-что по мелочам. Крупного ничего нет. Дядя один интересный в кишлаке появился.

– Имя, фамилию не знаешь?

– К сожалению. В кишлаке зовут его Файзулло. Но Файзулло ли он – один Аллах знает. В документы заглянуть нет возможности.

– Как выглядит?

– Типичный памирский таджик, ариец. Чернобородый, светлоглазый. Думаю, работу против нас ведет. Прикидывает, можно ли взять на заставе оружие. Возможно, людей к себе вербует...

– Это не «возможно», это точно. Эмиссары «юрчиков» сейчас по всему Таджикистану ездят, своих выискивают. Наши уже накрыли несколько человек, взяли с помощью таджикской безопасности. Ясно одно: если «юрчики» придут к власти – всех русских в Таджикистане вырежут. Так что попробуй, капитан, узнать точные данные этого душмана. Проверить черноборо-

дого Файзулло никогда не помешает, – рот у Базиляка задергался, словно бы он впустую хватал воздух и никак не мог захватить, лицо покраснело, в груди начал раздаваться сухой древесный скрип, на крыльях носа выступил пот – Базиляку надо бы поехать на Большую землю, подлечиться, но он этого сделать не может – дело бросить не на кого, и из Таджикистана вот так просто – погрузился с чемоданом в «серебристый лайнер» и укатил – не укажишь. – Контузия проклятая! – кое-как справившись с собой и вытерев платком рот, огорченно пробормотал Базиляк.

– Со временем пройдет... Ты только держись! – сказал Панков. А что еще он мог сказать? Ему было жаль Базиляка.

– Со временем... Мне сейчас надо, а не со временем, – лицо у Базиляка сделалось морщинистым, как у старого лилипута, он вздохнул, сунул Панкову руку: – Ну, бывай! Попробуй узнать фамилию этого «прохора». Ладно?

– Еще раз приглашаю – оставайся на охоту! Тебе, сотруднику штаба отряда, надо знать, как живут люди на местах – в низах, так сказать. А?

– Знаешь, какое перо мне вставит в зад начальство за такое несанкционированное любопытство?

Это Панков знал, поскольку сам в прошлом работал в штабе отряда.

– Жаль, – сказал он и пошел вместе с Базиляком к вертолету. Базиляк несколько раз на ходу ловко подбил носком ботинка плоские, вышелушенные из горной породы голыши – он когда-то был хорошим футболистом, мог играть и в нападении, и в защите, и в воротах мог стоять, – это у него всегда здорово получалось.

– Лучше бы ноги у меня заикались, – сказал Базиляк с досадой, – а не язык. Очень униженно себя чувствую. Но ногам хоть бы хны, а язык... – он раздосадовано сплюнул себе под ноги.

Панков подумал о том, что слова обладают некой материальной силой, будто кто-то, кроме нас, их слышит, и если Базиляк просит, чтобы ему отбило ноги, а язык обрел прежнюю гибкость – так оно может и произойти. Лучше бы он ничего не говорил...

– Скажи там насчет боеприпасов, – Панков подергал Базиляка за рукав – из-за грохота вертолетного двигателя слов уже не было слышно, – пусть пришлют еще патронов, да гранат для подствольников...

– В отряде – пусто, вряд ли что пришлют. Держись пока на том, что у тебя есть.

* * *

– Скоро змеи из всех щелей полезут, будто тараканы, – сказал Дуров, взглядываясь в арчовые заросли, темнеющие за каменной россыпью, – а змеи здешние – хуже душманов. Особенно вредна гюрза. Очень подлая змея. Не то что кобра. Кобра – королевская змея, никогда не будет нападать исподтишка, со спины, а гюрза, собака, нападает.

– Ползут они еще нескоро.

– Если установится тепло – уже через несколько дней будут греться на солнышке. Здешние змеи рано вылезают из нор.

– Раньше нападали часто?

– Были случаи.

– Ну что ж, придется дедовским методом воспользоваться – деды наши отпарывали от шинелей рукава, надевали их на ноги – змея шинельное сукно не прокусывает.

– Товарищ капитан, тихо, – предупредил Дуров Панкова, – в арчатнике кто-то есть.

Дуров, шедший первым, остановился, присел, закрутил круглой, как мяч, головой с отросшими куделями волос, залезающими на воротник куртки.

– Где?

– Смотрите левее, товарищ капитан, в самый край осыпи. Такая осыпь у нас в Сибири зовется курумником. – Дуров прибыл на границу из Красноярского края. Сибирью он все проверял, родные тюменские края были для него эталоном.

– Затихни на минуту, Дуров. Давай послушаем!

Замерли, напряглись. Но ничего, кроме звона в ушах, не услышали – тишина стояла мерзлая, глухая, ничего в ней не было, никакого движения, лишь только где-то далеко со стоном рухнула небольшая лавина, ослабленный звук ее толкнулся в скальный отвес по ту сторону Пянджа и угас.

– Ничего нет, товарищ капитан, все пусто.

– А мне показалось, что сюда спустился киик.

– Киик – это м-м-м, – мечтательно произнес Дуров, облизал губы. – Киик – это вещь...

С большой буквы.

Кийки – горные козлы водились выше, в заснеженных скалах, в облаках, в неприступных камнях, стремительно носились по гибельным стенкам, ловко одолевали всякую опасную крутизну, но случалось, что из занебесья их сгоняли снежные барсы, и тогда кийки уходили вниз, к людям.

Если таджики диких свиней не трогали – запрещал Коран: поросятина была негодна Аллаху, – то кийков били всюду – козлятина была для них самым сладким и вожаемым мясом.

– Правильно, Дуров, киик – это вещь. А кабаны, они, похоже, к Пянджу спустились, днюют в камышах.

– Возможно, возможно, товарищ капитан, – тоном бывалого охотника отозвался Дуров – собственно, охотничьего опыта у сибиряка Дурова было больше, чем у городского жителя Панкова. Дуров еще мальчишкой-третьеклассником ходил в тайгу с мелкашкой добывать белку. А белку могут добывать только опытные охотники, ее положено бить в глаз – только в глаз, чтобы в маленькой дымчатой шкурке не оставалось дырок, а с двадцати метров, – или даже с большего расстояния, – угодить в глаз неприметному зверьку – великая проблема, ловкость нужно иметь бесовскую. – Но здесь, в этих зарослях, надо тоже все облазить, товарищ капитан, чтобы убедиться – поросятиной тут не пахнет. Чару бы сюда!

– Нельзя, – Панков отрицательно качнул головой, – нельзя сюда Чару, опасно. А если кабан ей порвет бок? Застава останется без собаки.

– Да не порвет, товарищ капитан...

– Собака-то не охотничья.

– Я бы ее охотничьим премудростям живо научил, Чара – собака умная, все схватывает на лету. Она бы быстро на нас всех кабанов выгнала.

– Нет, Дуров!

Сержант вздохнул – продолжать разговор на эту тему было бесполезно: у капитана была своя правота, у Дурова – своя.

В зарослях арчи за осыпью было тихо. С другой стороны, кабан – зверь такой, что может залечь и замереть, будто его и нет – охотник в двух шагах пройдет и не заметит, кабан при виде его даже не шевельнется, ничем не выдаст себя. Конечно, в таких случаях нужна собака, она мимо затаившегося вепря не пройдет, обязательно вцепится ему в бок. Но овчарку на это натаскивать – роскошь, для этого достаточно обычной дворняги.

– Ну что, товарищ капитан, обойдем курумник? У нас, в Сибири, курумники опасны – заваливают человека с головой, попадешь – ни за что не выберешься. Погибали люди...

– Погибнуть где угодно можно. Даже на курорте в Ялте, от сорвавшейся с крыши сосульки или от плохо прожаренной котлеты.

– Вы в судьбу верите, товарищ капитан?

– Верю.

– И я верю.

– А в сны?

– И в сны верю.

– Так вот, товарищ капитан, у меня насчет курумника сон нехороший был... Еще в школьные годы. Вон сколько лет прошло, а я до сих пор помню. И до сих пор у меня мороз по коже бежит.

Они стали аккуратно, стараясь, чтобы из-под ноги не вылетел ни один камешек, обходить курумник по верху. Хотя и была у них привычка ходить по горам – опыт имелся, а не помогал он, ходить в горах всегда трудно, и вряд ли когда будет легко: здесь не хватает кислорода, в горле лопаются хрящи, легкие сипят пусто – без воздуха человек очень быстро слабеет, задыхается, делать ничего не может – все выпадает из рук.

Подтянулись под скалу, по крутым, будто бы специально проложенным камням прошли осыпь, стали спускаться в заросли арчи.

Арча – дерево удивительное, на Памире особое, оно словно бы из боли, из наростов, из опухолей, из ран и состоит – на этих полудеревьях-полукустах никогда не бывает живого места, оно донельзя измято камнями, ветром, льдом, снегом, водой, простужено до самых корней, хребтина у этого дерева всегда бывает вымерзшей до дна, но оно живет даже мертвое, живучее этого дерева на Памире нет ничего. За камни, за лед способно цепляться там, где никто не может зацепиться – находит щелочки, норки, поры, всовывается туда узеньким крепким корешком, стонет, но держится.

Нет на Памире другого такого дерева, как арча, особенно на большой, в три-четыре километра, высоте. Арча растет и там, арча да эдельвейсы – небольшие нежно-желтоватые, шерстистые, не боящиеся мороза цветы.

Спустились в арчатник, осмотрели заросли, камни – пусто, не видно длиннорылых.

– Им тоже сейчас голодно, – шепотом пожалел диких свиней Дуров, – землю едят. А тут еще мы по их душу.

В нем, видать, заговорило извечно доброе начало добытчика, который никогда не загубит живое существо просто так, ради баловства или любопытства, – настоящий охотник стреляет лишь тогда, когда нужно, и заранее жалеет свою жертву. Так и Дуров.

– Т-с-с, – предупредил его капитан: он почувствовал на себе чей-то взгляд. Только чей это был взгляд – зверя, человека? – не понять.

Панков остановился, присел, выставил перед собою ствол автомата.

Сержант присел рядом, спросил едва слышно, почти не шевеля губами:

– Случилось что-то?

Панков повернул голову в одну сторону, туда, где громоздились пепельно-коричневые растрескавшиеся камни – очень удобное место для засады, целый взвод с пулеметами можно спрятать, – тихо, ни единого движения, потом глянул в другую сторону, на скрытый камышовый полосой Пяндж, – там тоже было тихо. Доносился лишь слабый бормоток воды, звук словно в воздушную равнину протиснулся, долетел до людей и тут же угас. Пяндж обомлел, обессилел, стал больше походить на ручей, чем на реку, – но это до поры до времени. Как только начнет таять снег – Пяндж станет другим. Обратится в зверя.

– Что случилось, товарищ капитан? – вновь почти беззвучно повторил вопрос Дуров.

– Есть тут кто-то. А кто именно – не пойму.

Через минуту стало ясно, кто так внимательно наблюдал за людьми. Едва прошли арчатник, как из камышей со скоростью снаряда вымахнул средних размеров хряк-одиночка с длинным черным рылом, стремительно одолел ложбину, по которой шли пограничники, и исчез. Ни Панков, ни Дуров выстрелить не успели.

– Ничего себе метеор, – восхищенно пробормотал Дуров. – Прямо астероид, небесное тело, вошедшее в плотные слои атмосферы.

– Тихо, Дуров. Этот кабан гуляет сам по себе. На семейку мы еще не наткнулись. Она где-то здесь, рядом.

Минут через пять они подняли и семью – худого, с жесткой длинной щетиной и опасно выставленными на манер винтовочных штыков кривыми клыками, папашу, который не замедлил этими клыками грозно щелкнуть, следом – четырех подсвинков одного размера и мамашу, длинноногую, как коза, ушастую, со светящимися красным кроличьим огнем глазами. Мамаша метнулась от людей первой, за ней, с отчаянным хрюканьем, подсвинки, глава семейства стал отступать последним, грозно хрипя и щелкая клыками.

– Мамашу не бей, – предупредил Панков, короткой очередью ударив по подсвинку, бегущему в середине стаи. Попал сразу – подсвинок взвился в воздух, поджал, будто ребенок, под себя ноги и пузом грохнулся на камни, – мертвым он был уже в воздухе, – проюзил несколько метров по инерции, брызгаясь кровью, голова у него, обычно негнущаяся, деревянная, подломилась, попала под туловище, и он перевернулся через нее. Разрезав воздух двумя задними ногами, уткнулся спиной в скрученный в клубок арчовый корень. Так, в стоячем положении, убитый подсвинок и замер.

Панков перевел ствол автомата на папашу, – семья, ведомая матерью, стремительно уходила, скорость у нее была вертолетная, только копыта сухо постукивали по камням, да в обе стороны отлетали черные, похожие на мелкие молнии, искры-кремешки, от свиного топота, казалось, вот-вот начнут плясать горы. Строй свой свиньи соблюдали строго: впереди шла мамаша, в середине – два подсвинка, прикрывал семью в этот опасный момент сам глава – матерый волосатый папаша. Бурый, с прилипшими каменными крошками зад его был костист, грязен, прочен.

– Во шпарят! – не удержался от восклицания Панков, приладился к автомату – семья вот-вот должна была скрыться в сухой камышовой гряде, но Дуров опередил его – экономной, в три выстрела, очередью подсек замыкающего. Хряк на ходу резко затормозил, взбив облачко каменной пыли, захрипел, разворачиваясь грудью к людям, морда его окрасилась кровью.

Нет, одной экономной очередью здесь не обойтись, придется стрелять в два ствола, хотя патронов на заставе, несмотря на привезенный припас, кот наплакал – каждый «масленок» на счету, – сейчас хряк пойдет на пограничников. Хряк снова захрипел, дернул головой, стараясь избавиться от боли, от пуль, всадившихся в его тело, и одновременно наливаясь ненавистью к двум людям в выцветшей маскировочной форме: за что они его так, что худого он им сделал?

Хряк оттолкнулся от камней, взвился в воздух и поплыл, поплыл по нему, будто тяжелая торпеда, глаза ему забусило горячим, красным, на мгновение людей не стало видно, и он опять протестуяще захрипел, дернул головой, сбивая красную мокреть с глаз, приземлился, втыкаясь ногами в землю, напрягся, чтобы совершить очередной длинный прыжок, но ноги уже не слушались его, подогнулись, в теле что-то захрустело, раздался стон, и хряк, заваливаясь набок, поехал по камням.

Метров пять его крутило, било о камни, потом он остановился, вздохнул тяжело и замер; ни Дуров, ни Панков не успели добить его – кабан, похоже, добил себя сам.

– Что, готов? – не веря, что кабан улегся навсегда, спросил Панков.

– Не знаю. Не должен бы. Вообще, бывает, что кабанов не пуля достает – у него шкуру пробить невозможно, кабан в ней, как в бронежилете, – достает сердце. Сердце рвется пополам, как у человека.

– Сам видел или кто-то рассказывал?

– Сам видел. В Сибири.

Стая, ведомая мамашей, врубилась в камыши и мигом исчезла в них – только макушки камышей шевелились, дергались, расходясь в разные стороны, смыкались, показывая, где находятся кабаны, да стоял жестяной мерзлый шум.

– Ну что, Дуров, на первый раз хватит? – спросил капитан, закидывая автомат за плечо. – Хряк и подсвинок. Остальные пусть бегают.

– Они уйдут отсюда, товарищ капитан.

– Далеко не уйдут, не альпинисты. Кругом же горы. И Пяндж не переплывут – не дано. Так они в этой каменной долинке да в камышах и будут коптить воздух, корни трескаться, – Панков вытащил из кобуры ракетницу: – Ну что, зовем ребят?

Он заложил в ствол ракетницы один патрон с травянисто-светлым ободком, выстрелил.

Ракета с шипеньем ушла в воздух, расцвела сочным зеленым бутонем.

– Перекур, Дуров, – сказал капитан, – мы с тобою это заслужили.

Конечно, то, что они делали, было чистой воды браконьерством, да и охота с автоматом на безоружного зверя – это не охота, это убийство. Охота, – когда человек берет лук со стрелами, копье, нож и выходит навстречу вепрю, и побеждает его в единоборстве – вот это охота! А с автоматом можно ходить хоть на слона – все равно автомат окажется сильнее. Такая охота неинтересна.

Но у Панкова и его людей не было выбора – застава только охотой и могла поддержать себя. Панков почувствовал, как у него перед лицом тихо сдвинулась и поплыла в сторону земля, в глазах потемнело; он потер пальцами виски, шею, приходя в себя, достал из кармана сигареты – подмоченный «Памир», давно уже в России не выпускаемый, такой же, как и эти горы, горький, вышибающий слезы, опасный: капля никотина от этих сигарет может запросто оставить дырку в куске дерева, не только в живой плоти – в легких или в теле, – она способна продырявить даже камень.

– С табачком веселее, товарищ капитан, – сказал Дуров и тоже достал из кармана пачку «Памира», одним ударом пальца по доньшку выколотил сигарету. Сигарета крохотной ракетой взвилась в воздух, попала сержанту точно в губы. Дуров чиркнул спичкой.

– Ловко, – похвалил капитан. – Да не веселее с табачком, это совсем не то, с табачком – сытнее. Голод меньше ощущаешь. Пососешь сигарку – будто кусок съешь, в желудке всякие боли с нытьем прекращаются.

Закурили. Пустили дым – ветра не было, сигаретный шлейф тихо поплыл по воздуху вверх, чуть скосил в сторону и бесследно растворился.

– Отрава, – Дуров помотал ладонью перед лицом, – ох, отрава! Здешний воздух только губит... А здешним воздухом можно торговать, правда, товарищ капитан? Очень хороший бизнес: набирать воздух в банки, запаивать на манер «кока-колы» и доставлять его куда-нибудь в Токио. А там за хорошие денежки – каждому желающему... Банка свежего горного воздуха – один доллар! А у нас он бесплатно.

Дуров покосился на лежащего неподалеку кабана. Предложил:

– Может, его здесь освежаем?

– На заставе лучше.

– Уж больно тяжело этого дурака тащить.

– Ничего, машина дотащит.

– Как-то странно он спустился. Может, у него действительно разрыв сердца? Что-то не нравится мне этот кабан.

– Что, больно тощий?

– У нас однажды было такое на охоте – положили пару боцманят, килограммов по пятьдесят каждый. Ну и решили их не свежевать – кожа-то у них нежная, молодая, тонкая, не заду-бела еще, как у хряка, – решили опалить на огне. Затащили одного боцманенка в костер, положили сухой травки, соломы где-то нашли, зажгли огонь. Палим, палим боцманенка, он уже голый, словно баба в пруду, вдруг ка-ак поднимется из огня, да ка-ак взвывается! И – деру из костра. Одного охотника сбил с ног, пробежал по нему, копытом чуть глаз не выдавил. Хорошо, собака была, вслед кинулась.

– Ну и как же вы с ним справились?

– Стрелять пришлось.

– А ты, Дуров, не это самое? – капитан загнул палец крючком, показал сержанту. – По старой охотничьей традиции, а?

– Никак нет, товарищ капитан, все это – чистая правда и только правда. Я к чему веду разговор – подойдем мы к этому окровавленному хряку, а он вдруг ка-ак поднимется!

– Не должен, – произнес капитан с сомнением, но на всякий случай снял «калашников» с плеча, отщелкнул рожок, глянул в него, пытаясь рассмотреть, далеко ли находится пятка пружины, поддающей патроны в ствол, ничего не увидел и постучал ногтем по кожуху рожка, определяя, где в нем пусто, а где густо.

Патроны в рожке еще были, израсходована только половина.

– А впрочем, ты прав, Дуров, – сказал капитан. Передернул затвор. – Никто никому ничего не должен.

Дуров действительно оказался прав, все-таки охотничьих навыков у него было больше, чем у капитана, и зверей настрелял он в своей жизни больше. Когда, после перекура, они подошли к хряку, тот лежал, уронив окровавленную голову на плоский слоистый камень, подмяв телом левую переднюю ногу – видать, переломленную или перестреленную, – мертвая туша, мясо в шкуре... Тем не менее Дуров, как и капитан, передернул затвор «калашникова», пробормотал про себя:

– Береженого Бог бережет!

Панков оглянулся – показалось, что где-то недалеко гроыхает мотором машина – вездеходный грузовичок «ГАЗ-66», приписанный к заставе, – но нет, сзади было тихо, ни грузовичка, ни людей. Зато услышал Панков другое – задавленное, но грозное хрюканье, стремительно развернулся и сам себе не поверил – кабан поднялся на ноги.

Левая передняя нога его была сломана, не прострелена, кабан, видать, сам сломал ее, когда падал – кость не выдержала тяжелого тела, нога была вывернута в сгибе копытом внутрь, с морды текла кровь, один глаз был вырублен пулей – вырвало вместе с мясом, была видна неестественно белая, будто отлитая из пластмассы, совершенно не испачканная кровью кость.

Кабан мотнул головой, захрипел еще более грозно, захоркал, словно северный олень и, ревно сорвавшись с места, пошел на людей. Панков смотрел на него заворуженно – надо же, какая жажда жизни, какая силища, какое чутье – и выждал ведь, несмотря на боль и муку, на свои звериные слезы, когда люди закончат перекур, пойдут на него и окажутся совсем близко, – выждал, чтобы расплатиться болью за боль, слезами за слезы, жизнью за жизнь. Дуров находился в трех метрах впереди Панкова, перекрывал капитану кабана.

Сделав несколько отчаянных скачков, кабан уже почти достал Дурова, нагнул голову в разящем боевом наклоне, выставил клыки, захрипел, разбрызгивая вокруг себя кровь, но на бегу попал на сыпучее место, застопорил движение, а потом и вовсе забарахтался в курумнике, поплыл назад.

Но Дуров не стрелял, чего-то медлил, стоя с поднятым автоматом.

– Он же мучается, Дуров!

Дуров по-прежнему продолжал закрывать капитану кабана, капитан не мог стрелять – стоит Дурову сделать одно неосторожное движение, и он обязательно попадет под пулю.

Кабан перестал сползать вниз по осыпи, уперся задними ногами во что-то твердое, надежное, резко взнялся над самим собой, сделался страшным, разбрызгал кругом кровь, и тогда Дуров нажал на спусковой крючок «калашникова». Он сделал один единственный выстрел. Этого оказалось достаточно. Недаром Дуров бил когда-то белку – пуля всадила кабана в другой глаз, вывернула его наизнанку, облепила глазным студнем всю морду, всадила в череп, кабан застонал, словно человек, грохнулся на осыпь и заскреб целой передней ногой по камням, подгребая под себя мелкие голыши.

Через несколько секунд силы у него кончились, кабан затих, по шкуре, дыбя волосы, проползла судорога, кабан вздохнул жалобно, щелкнул клыками и умер.

– Вот сейчас все, товарищ капитан, можно подходить без опаски, – сказал Дуров и, стерев пот со лба, добавил восхищенным голосом: – Во «бетр», настоящий «бетр» – хорошо вооруженный и заправленный по самую пробку, а не кабан! – Дуров сокращенное армейское слово «бетеэр» произносил еще более сокращенно, сжато, на сибирский, видать, лад – «бетр».

– А чего так долго не стрелял, тянул? – спросил капитан.

– Да нам его из курумника было не выволочь, товарищ капитан, я ждал, когда он курумник пройдет...

– Тьфу! – Панков отплюнулся. – Вот прагматик.

Минут через десять показались люди – пятеро свободных от наряда пограничников – кабанов предстояло бурлацким способом, волоком, на лямках перетащить к дороге, куда подогнали плосколицый, с высокими речными бортами «ГАЗ-66».

Мясо на заставе – всегда праздник, это возможность хотя бы один раз наесться мяса досыта, похлебать вволю шулюма, как повар Юра Карабанов зовет суп из кабанятины, потому что жиденькая каша с заправкой из сухой памирской травы, напоминающей укроп, уже здорово надоела, – а шулюм Юра готовит мастерски, это его фирменное блюдо, в такой праздник можно отвести душу, осоловело откинуться, вытянуть ноги и, блаженно шурясь, слушать сквозь дремоту, как погромыхивает, ворчит, скребется о камни холодный, мутный Пяндж.

– Ну что там Россия, товарищ капитан? – спросил Панкова Трассер, алея своей яркой головой. – Мы считаем, что она забыла про нас.

– Нет, не забыла, – Панков вздохнул, он не знал, что ответить Трассеру, – не до нас ей сейчас.

– Разваливается Россия, разваливается, допекли нас, товарищ капитан, американцы и прочие империалисты, – Трассер сделал рукой неопределенный жест, – добились. Скоро слово «Россия» будем писать с маленькой буквы и делиться на вятичей, кривичей, тверичей... кто там еще был? А из Бердичевского уезда в Голопупковский ездить будем по визитам с загранпаспортами. Вот что происходит, товарищ капитан. Проговорили, пробормотали, проскакали мы нашу Россию. Да не мы, а... – Трассер снова сделал неопределенный жест, потыкал вверх пальцем, – там, мол, это сделано. – И будем мы отныне сырьевым придатком какой-нибудь Японии на уровне ну, скажем, неведомой страны Помидории либо княжества Турнепс, которые на широкомасштабной карте даже через десятикратную лупу не разглядишь.

– Что, за державу обидно?

– А как вы думаете, товарищ капитан? – лицо у Трассера напряглось, и в следующий миг он будто бы в футляр нырнул, закрылся там – слишком много наговорил не того. А если капитан – из ярых демократов?

– И мне за державу обидно, Кирьянов. Ты даже не представляешь, как обидно, – Панков не удержался, помял пальцами грудь: там, в сердце, что-то глухо покалывало, тревожило его.

И плевать, в конце концов, что они такие оборванные – нет на заставе ни одной куртки, ни одного комбинезона, ни одной пятнистой формы без заплат, плевать, что голодные – иной солдат ночью плачет от голода, кусает зубами подушку, но не жалуется никому; плевать, что холодные – сегодня холодно, завтра будет еще холоднее, главное, чтобы Россия выстояла, выжила, она – основная забота, а все остальное – мелочь, тьфу, пыль, легкий сор, который мигом уносит ветер. Лишь бы не разодрали ее на части разные политики, стакан стаканчики и люди с лицами футболистов, не умеющих играть в футбол, – таких полным-полно.

А они, всеми забытые, брошенные на краю земли пограницы, продержатся.

Когда свиньи были освежеваны, разделаны, Панков попросил Карабанова:

– Юра, отруби заднюю ногу от поросенка и заверни в целлофан.

– Осмелюсь полюбопытствовать, товарищ капитан, зачем? Может, лучше что-нибудь другое?

– Нет, заднюю ногу. Не жмись. Бабке в кишлак надо отнести.

– Страшиле, что ли? Она же мусульманка, товарищ капитан. А мусульмане свинину не едят.

– Ты точно знаешь, что она свинину не ест? Ты ей носил когда-нибудь? – увидев, что Карабанов посмурнел и скосил глаза в сторону, капитан повысил голос: – И я ей не носил. И другие не носили. Откажется – ее дело, не откажется – значит, она нормальный человек. Я ей сам отнесу мясо.

Через пятнадцать минут Панков уже шел по каменистой, гулкой от навалившегося вечернего холода дороге, чутко ловил все звуки вокруг, совмещал их со звуком собственных шагов, думал о том, что должна же у людей когда-нибудь наступить мирная сытая жизнь, – неужели они не заслужили этого, – вглядываясь в недобро загустевшее, с перышками далеких серебристых облаков небо и, когда слышал в камнях скрип или шорох, поправлял лежавшую на плече кабанью ногу, словно бы ее у него мог кто-то отнять.

Он нарушил установившееся правило о том, что в здешние кишлаки нельзя ходить по одному, но только с подстраховкой, с напарником, чтобы была прикрыта спина: не то правые быстро всадят нож под левую лопатку. Но так уж получилось, что Панкову некого было брать с собой, людей по пальцам пересчитать можно, у каждого – своя нагрузка.

Свиная нога, завернутая в целлофан, хранившийся на заставе с давних, еще «застойных» времен, тяжело давила на плечо, автомат мешал ходьбе.

До кишлака Панков добрался без приключений, на улице остановился, вгляделся в ближайšie дома, стараясь понять, в каком из них живет бабка Страшила с внучкой, не обозначится ли где-нибудь типично русская примета – вывешенное на дувал одеяло либо поставленный на попа горшок? Но нет, все дома были безлики, как кирпичи, и похожи друг на друга, как близнецы-братья, – не узнать, где обитает бабка Страшила, а заходить в каждый дувал подряд – себе будет дороже. Идти к бабаю Закиру не хотелось, да и лишний раз засвечиваться у него, подставлять бабая было нельзя: с бабаем Закиром за связь с пограничниками могли расправиться.

Неожиданно из ближайшего дувала выскочил маленький, проворный, как собачонка, пацаненок, шустро понесся по замусоренной пустынной улице. Был он без обуви, босиком. Панков невольно поморщился: холодно же, а с другой стороны, – видать, таков народный обычай в здешнем кишлаке – детство босоное у маленьких граждан республики. Окликнул пацаненка:

– Эй, бача!

Тот на бегу вздрогнул, будто от охлеста плети, – Панкова он не заметил, вывернул голову и, увидев человека с автоматом, мигом ударил по тормозам, так что из-под пяток заструилась пыль.

Знал пацаненок, что от автомата не убежать, пуля все равно окажется быстрее. Остановился, из-за плеча покосился на Панкова. Взгляд его был выжидательный, хмурый, но без испуга и вообще какого-то интереса.

– Э-э? – выкатилось у него изо рта нечто невнятное, вопросительное, округлое.

– По-русски говорить умеешь?

– Мало-мало, – отозвался пацаненок.

Панков хотел спросить, почему он без башмаков – ведь калекой может остаться на всю жизнь, но вместо этого спросил совсем другое:

– Где русская бабка живет?

– Вон! – пацаненок выбросил перед собой руку, показал на самый крайний дувал. – Там!

Панков подумал о том, что этого паренька надо пригласить на заставу, возможно, в каптерке для него найдутся какие-нибудь галоши-маломерки – самая модная в Средней Азии обувь, а если не найдутся, то для него можно будет, в конце концов, сварить что-нибудь из автомобильной резины. На заставе есть и такие мастера.

– Тебя как зовут? – спросил у пацаненка капитан, оглядел его с жалостью: ноги были черные, ороговелые, потрескавшиеся, такие лапы уже никогда не отмыть, не привести в человеческий вид. Впрочем, насчет «никогда» он был неправ.

– Э-э-э... – пацаненок приподнял хрупкие плечи, голова по самую макушку ушла ему в грудь.

– Что, не знаешь? Но имя-то у тебя есть?

– Э-э-э... Абдулла! – выпалил пацаненок облегченно.

– Абдулла, приходи завтра на заставу, у часового спроси капитана Панкова. Я тебе на ноги что-нибудь найду. Чтоб босиком не бегал, – капитан потыкал пальцем в землистые ноги пацаненка. – Больно ведь. И холодно. На заставе появись обязательно!

Пацаненок непонимающе глянул на Панкова, просек насквозь своими непроницаемо-черными глазами и припустил во всю прыть по пустынной улице кишлака. Только пыль поднялась за ним столбом. Как от автомобиля. Панков не удержался, засмеялся.

Дверь в дувал, где жила бабка Страшила, была открыта. «И в такое-то время – ведь каждый может заскочить в открытый дувал, уволочь отсюда все, может пристрелить и бабку, и внучку... За это сейчас даже денег не берут – стреляют ради интереса. – Панков поморщился, почувствовал, что к правой щеке его прилипла паутина – теплая, щекотная, неприятная, но паутины не было, было лишь нездоровое ощущение, это – нервное. – А с другой стороны, разве для человека с автоматом дувал преграда? Не преграда. И тем более не преграда хлипкая сосококая дверь». Панков вошел в дувал, огляделся.

Дувал был чист, хорошо подметен, никаких примет, что у бабки Страшилы есть в доме живность, не было. Панков неловко потоптался, не решаясь войти в самую кибитку, как здесь иногда зовут жилые помещения, сам дом, – неожиданно ощутил незнакомую робость, словно бы он совершил что-то недозволенное, за что придется отвечать, глухо покашлял. Кашель этот подполз изнутри внезапно, обдал глотку пылью, чем-то мешающим дышать, вызвал ощущение духоты, хотя на улице было холодно.

Хоть и был кашель глухой, слабый, а и этого неприметного звука оказалось достаточно, чтобы дверь кибитки скрипнула и на пороге показалась Юлия.

Юлия молча и строго посмотрела на Панкова. Была она одета все в тот же старый застиранный, потерявший форму полосатый халат, только в тот раз на голове у нее гнездилась какая-то хламида – что-то среднее между платком и тюрбаном, хотя это был платок, накрученный в виде тюрбана, со свободной нижней частью, чтобы прикрывать лицо, это Панков помнил точно, а сейчас Юлия стояла с непокрытой головой. Неприступная, далекая, невольно вызывавшая на сердце у Панкова какой-то нежный холодок.

– Я вот, – смущенно, словно неопытный браконьер, произнес Панков, скинул с плеча тяжелую, пахнущую сырой кровью ногу, – на заставе сегодня охота была, мы двух вепрей подстрелили, одного побольше, другого поменьше... Застава решила подкинуть вам немного мяса, – он сделал два шага вперед, положил ношу около ног Юлии, – вот!

Панков почему-то не рискнул посмотреть ей в глаза, что-то останавливало его: то ли он боялся, словно мальчишка, смутиться, то ли опасался услышать фразу, способную кого угодно повергнуть в уныние – типа: «Больше сюда, пожалуйста, не приходите», то ли просто разочароваться, хотя вряд ли Юлия могла разочаровать его, – но все равно внутри у Панкова, в груди, образовалось тесное пространство, этакая узкая клетка, в которой поселился опасливый холод, и он боялся этот холод расплескать, упустить. Слишком уж тот быстрый был, увертливый, словно ртуть.

– Солдаты мне сказали, что вы с тетужкой – мусульмане, свинину не едите, но дикие кабаны – это не свинина, мясо у них постное, ни единой жиринки, – оно постнее говядины, – Панков умолк, невесть чему вздохнул, развел руки в стороны и, словно бы что-то поняв, решив для себя, стремительно развернулся и бесшумно охотничьим шагом пошел прочь со двора.

Вслед ему донеслось тихое, очень робкое – эта робость невольно удивила его, Панкову захотелось остановиться, сказать Юлии несколько поддерживающих слов, сделать что-нибудь, чтобы ей стало теплее, но он не остановился, – произнесенное с тяжелой горечью:

– Спасибо.

Небо опасно почернело, опустилось на землю, слиплось с камнями. Панков быстрым шагом двинулся на заставу – ребята ведь ждут его, беспокоятся, пока он не окажется на заставе – не будут минировать дорогу. Звезды уже часто высыпали на небе, далекие светящиеся облака продолжали тускло серебриться, вызывать на душе тревогу, некую странную неземную тоску – внутри все замирало при одном взгляде на эти облака – что-то там, на облаках, надо было его душе, его сердцу, что-то там было потеряно, а вот что? Поди, угадай... Нет, не угадать.

Он прошел примерно треть пути, как вдруг услышал сзади осторожные частые шаги, мигом свернул на обочину, присел, выставил перед собой ствол автомата – думал, увидит на фоне темного неба темное плотное пятно – фигуру человека, идущего за ним, но помешали камни, преследователь (а может, их было несколько) слился с ними, стал невидимым. Панков прислушался: не слышно ли шагов? Ничего не было слышно, преследователь видел в темноте лучше, чем Панков, – заметил, что капитан остановился и присел, – и сам остановился, припечатался к камням.

Панков стремительно поднялся, по кривой пересек дорогу, пробежал несколько десятков метров по обочине, потом снова пересек, забирая в противоположную сторону, достиг массивного каменного выступа, остановился. Вслушался с тревогой – что там в темноте, в ночи?

Он не ошибся – за ним шли. И не один человек, а двое – шаги были спаренными. А что если на него накидывают силок, как на птицу, либо гонят в сетку и дорога на заставу уже перекрыта?

Можно было уйти по боковой тропе, но тропу в темноте не разглядеть, надо подсвечивать фонарем, иначе можно соскользнуть с нее, провалиться в каменную расщелину, либо вообще очутиться в пропасти, да и фонарь сам – хорошая мишень, бей в него в темноте – не промахнешься!

Нет, вряд ли здешние душманы-подпольщики, эти молодогвардейцы в галошах и нестираных рубахах, могли так быстро организовать засаду – слишком мало времени у них было для этого. Панков только что прошел по этой дороге, и заметили его уже в кишлаке, когда он разговаривал с пацаненком, и максимум, что они могли организовать, – погоню. А вдруг удастся перехватить «красного командира»? Он передернул затвор «калашников», облизнул сухие, заскорузлые от ветра губы.

– Ну-ну, давайте, кто кого, – недобро усмехнулся он, – устроим социалистическое соревнование...

Снова взгляделся в темноту – если он различит в ней какие-нибудь тени, движение черного в черном, либо засечет звук, то этого будет достаточно, чтобы сориентироваться, куда стрелять, но ничего в ночи не было слышно, все замерло. Тишина установилась глухая, опасная, полая – ни одного звука в ней, сплошная пустота. Такая тишина бывает только в горах. Возможно, у преследователей был с собою прибор ночного видения, – если это так, то Панков был у них как на ладони, они его видели, а он преследователей – нет. Противное ощущение остается, когда неожиданно сделаешь такое открытие, – ну будто бы голенький, совершенно незащищенный, как цыпленок, только что вылупившийся из яйца и очутившийся в чистом поле, на ветру... Ну откуда у нищих душков приборы ночного видения? От американцев, с которыми мы побратались?

Ночь по-прежнему была тиха и пустынна. Панков снова стремительно, по косой, пересек дорогу, пробежал немного по обочине, потом совершил обратный маневр, опять пересек дорогу по косой, пробежал метров сто, остановился и присел, давя в себе тяжелое рвущееся дыхание. В ту же секунду услышал топот ног – за ним уже не шли, а бежали.

– Вы что, действительно хотите меня прихватить? – пробормотал он изумленно. – В самом деле? – он втянул в себя воздух – надо было погасить пожар в легких, – задержал его в груди и поднял автомат. – Да после первого же выстрела ко мне с заставы придет подмога. Хотя... Может, вы и ребят планируете повязать со мною?

Пленные, конечно же, душманам нужны, но не менее пленных их интересуют оружие, боеприпасы, рация, дизель, запас солярки. Взяв капитана в плен, они могут получить за него премию либо выменять, например, на солярку. Или на патроны. Других интересов у душманов нет. Но Панкова еще надо взять. Хоть и недокомплект на заставе, но все люди на ней – калиброванные, откованы из хорошего железа. Из местных на заставе никого нет, ни «вовчиков», ни «юрчиков», есть таджики, но они с севера, не здешние... Эти заставу предать не должны... Панков приготовился стрелять – хватит бегать от этих полосатых комсомольцев, как тушканчик от лисы, вона – чуть легкие себе бегом не разодрал. Он зажал в груди дыхание, но выстрелил первым не он – тишину взрезало несколько гулких металлических ударов, слившихся в один, потом еще – по Панкову стреляли из какого-то заморского автомата, а у каждого автомата, как известно, свой голос, одинаковых голосов нет, стрельбу разных отечественных автоматов Панков знал – и «калашника», и ППШ, знал также, как звучит «узи», «шмайссер», американская автоматическая винтовка М-16, как «говорят» чешский и бельгийский автоматы, – но это было ни одно, ни другое, ни третье, это было что-то новое.

Несколько светящихся пуль прошли у него над головой, штуки три впились в камни рядом, раскрошили старую плоть, обдали Панкова горячим мелким сеевом.

«Сразу из двух автоматов бьют», – отметил Панков. Снова раздалась очередь, на этот раз длинная, нерасчетливая; хорошо видимые в темноте пули пошли веером – «хозяин» стрелял с живота, не экономя, вопреки обыкновению, патроны, стараясь захватить как можно больше пространства. Душманы потеряли нырнувшего в камни Панкова, открыли стрельбу первыми и тем самым проиграли – им надо было играть в «молчанку» до конца, это было бы для них лучше всего, но они не выдержали, нервы у душков оказались гнилыми... Вот шансы и сравнялись.

Панков подождал еще немного – пусть «прохоры» расстреляют свой боезапас, пожалел о том, что на его автомате нет подствольника, он очень хорошо мог бы накрыть душманов из подствольника гранатой, но чего нет, того нет, подумал о том, что недаром ребята, когда идут в наряд, обязательно берут с собой подствольники и гранаты для стрельбы, – хоть и тяжело это, и вышибает из организма последние остатки дыхания, с кашлем рвет легкие, а в теле, в крови вообще не остается кислорода, обязательно тащат с собой дополнительную, не предусмотренную никакой инструкцией тяжесть – они верят в оружие больше, чем в хлеб, в доброту, в песни. И бывают правы, поскольку из подствольника можно запустить гранату метров на четыреста и поразить цель, которую никогда не поразит автоматная очередь.

Снова заработали два автомата, пули с сырым противным чавканьем всаживались в камни, в землю, вспарывали хрустящий ночной воздух, уносились в небо, чертили яркими строчками пространство, обсыпали Панкова каменной крошкой, одна из отколотых щепок врезала Панкову по лбу, словно стрела, выбила кровь. Душманы стреляли, а Панков не стрелял, он сейчас думал уже не о том, как отбиться, а как взять кого-нибудь из этих наглых «прохоров» в плен. И еще один вопрос занимал Панкова: имеет ли отношение к этой стрельбе чернородый Файзулло или действует кто-то другой?

Скорее всего, имеет.

Со стороны заставы в воздух ушла ракета, осветила ночное пространство, отодвинула тьму в сторону, вырвала у нее каменные нагромождения, скалы, валяющиеся в неровном свете

друг на друга, безжизненную плоскую дорогу – скорбный лунный пейзаж, чуждый человеку. Среди камней Панков увидел две проворные гибкие тени – это были преследователи.

– Спасибо, ребята, помогли! – поблагодарил капитан своих солдат, подвел ствол автомата под одну из теней. Нажал на спусковую собачку.

Ствол автомата окрасился тусклым пламенем, запахло дымом, железом, еще чем-то горячим и кислым, рядок пуль подсек тень – душман, спасаясь от очереди, проворно отпрыгнул в сторону, за камни. Панков переместил огонь на вторую тень, пули всадились в камни, взбили пыль, которая была хорошо видна в угасающем свете ракеты, подсекли душмана.

«Попал! – спокойно отметил Панков. – Зацепил ведь, точно зацепил! А вдруг один из этих двух – памирец? Как его зовут, Файзулло?..»

Он услышал сзади крики, топот – это бежали солдаты с заставы. Опустил автомат. Стрелять было бесполезно: ракета угасла, ночной оптики у Панкова не было.

По камням метнулся луч фонаря. Панков поморщился: человек с фонарем – отличная мишень, сейчас пальнут с той стороны, даже не целясь, вслепую, – и попадут ведь. Да и немудрено не попасть в такую толпу. Панков на всякий случай послал в камни, за которыми исчезли преследователи, две короткие очереди – береженого, как говорится, Бог бережет.

Душманы не ответили, они все поняли и ушли, вполне возможно, оба раненые, – по этой части души большие мастера, смываться умеют быстро. Еще они мастера по части пыток и разных злобствований – и головы отрезают православным, и животы вспарывают, и мужского достоинства лишают, и в соларке живых солдат варят, и на крюк, будто баранов, подвешивают. Русский человек никогда не додумается до такого и никогда не бывает так бессмысленно жесток.

– Товарищ капитан, а, товарищ капитан! – услышал Панков задыхающийся крик Дурова. – С вами все в порядке? Вы живы?

С Дуровым бежали еще несколько человек, три или четыре. Панков снова послал короткую очередь в камни, за которыми скрылись преследователи, и лишь потом ответил:

– Жив!

Дуров подбежал к нему первым, распластался на камнях рядом, выставил перед собой автомат, гулко забухал в руку кашлем.

– Кто это был, товарищ капитан, не знаете? – откашлявшись, спросил он, отер рукою рот.

– Если бы, если бы... Хотя, вполне возможно, что одного я знаю.

– Тот самый? Черноволосый, с глазами цвета пива? «Нет слов, душат слезы», – как говорил один малоизвестный классик. Да? Памирец? Он?

– Думаю, он. С фонарем поосторожнее, – предупредил Панков, – не подставляйся.

– Они ушли. С нами связываться вряд ли будут. Эти ребята только тогда связываются, когда имеют перевес в силах один к двадцати, – Дуров снова забухал в руку кашлем.

Здесь, в горах, ветер гуляет на ветре и ветром погоняет, простуда сидит на простуде. Впрочем, завтра они уже будут ночевать не в дощанике, а в опорных пунктах, как называются в разных воинских донесениях окопы, вырытые в камнях.

Панков, когда прибыл на заставу, увидел, что окопы вырыты мелкие, собрал бойцов, сказал им:

– В таких окопах «прохоры» могут вам не только голову прострелить, но и задницу. Окопы надо углублять. Не шибко, не до Америки, но чтоб с коня стоя можно было стрелять. Понятно?

– Зачем с коня, товарищ капитан? – спросил тогда Трассер. – Ведь скоро дембель.

– До дембеля можно и не дожить. Весной откроются перевалы и начнется такое... Уж пусть лучше руки поноют, зато голова останется цела. А ну, бойцы, хватайся за лопаты!

Хоть и скрипели бойцы, и ныли, и капитана поругивали, а окопы вырыли такие, какие надо было вырыть. Панков каждый окоп сам проверил, лично, не поленился спрыгнуть в

каждую каменную щель, ощупать все руками, проверить, а поместится ли в окопе спальный мешок, – и каждый «опорный пункт» принимал, будто учитель, ставил оценки и предъявлял «списки недоделок».

Дуров наконец откашлялся.

– Ну что, товарищ капитан, похоже, я прав – ушли.

– Вроде бы ушли. Но все равно нужно быть настороже. Одного я, кажется, ранил. За мной, Дуров! Надо посмотреть... Остальные пусть остаются здесь.

Панков, пригнувшись, выскочил из укрытия, в темноте ловко перемахнул через большой камень, потом так же легко и ловко одолел второй, а вот на третьем споткнулся, не рассчитав чего-то впотьмах и яростно зашипел от боли.

Остановился, когда под ногами звякнули гильзы, выброшенные душманскими автоматами, присел. Сзади на него налетел Дуров. Капитан с силой притиснул его к земле.

– Т-тихо!

Дуров присел рядом, стукнул прикладом автомата о камни, Панков недовольно поморщился – слишком много шума от двух человек, напрягся, вслушиваясь в пространство... Донесся до него лишь далекий звериный шорох – прошел осторожный дикоша, дикобраз, да высоко вверху, в старых скалах, куражливо забормотал пьяный от осознания собственной силы и способности носиться по миру ветер. А так – ни одного лишнего звука. Все замерло.

– Нет их, товарищ капитан.

– Да. Ушли.

– Сколько их было? Двое, трое?

– Было двое, но не это важно. Они могли перекосить всех вас, когда вы шли лавиной. Двух автоматов как раз бы хватило. Разве так можно, Дуров? Ведь вы же все – опытные люди. Э-эх! – капитан с досадою pokrutil головой. – Обстрелянные и...

Дуров виновато вздохнул, пробормотал невнятно:

– За вас беспокоились, товарищ капитан.

– За вас, за вас, – пробурчал капитан. – Та-ак, теперь надо посмотреть, есть ли здесь кровь? Если есть – значит, один душок получил свое.

Аккуратно, плоско водя фонарем по земле, Панков нашел чернильно-блесткое красное пятно, в котором рыжими комочками свернулась грязь.

– Есть попадание, товарищ капитан, поздравляю, – удовлетворенно проговорил Дуров.

– Хорошо бы знать, в кого именно я попал?

Панков подобрал несколько быстро остывших, – было уже холодно, – гильз, глянул на шляпки: гильзы были испанские, по калибру подходили к нашему «калашникову». Если душманы стреляли из родных, уже надоевших «калашниковых», то почему же звук был такой незнакомый, бухающий, жестяной? Патроны маломощные, что ли? Либо наоборот – патроны – дальнеметы, обладают повышенной убойностью? Панков сунул несколько гильз в карман. Надо будет исследовать их на заставе.

– Все, Дуров! Минируем дорогу и уходим за заставу!

Уже ночью, находясь у себя дома, переведя дыхание, капитан выругался – вот и сходил в кишлак, вот и сделал доброе дело, наделил голодных русских кабанятиной, – еще немного – и лег бы на каменистой холодной дороге...

Свою небольшую квартиру, положенную ему на заставе, как и всякому начальнику, он постарался обиходить, сделать ее получше, привез сюда холодильник, в Душанбе купил занавески, повесил на окна, чтобы душманы с горы в стереотрубу не увидели, постель накрыл роскошным клетчатый пледом – сделал это сразу же, едва заняв крохотную, из двух неказистых комнатенок, квартиру.

Ему нравилось жить здесь, нравилась прозрачная, с таинственными шорохами тишь, что бывает присуща всякому человеческому жилью, словно бы где-то в углах, под потолком и под

кроватью, в изгибах неумело сложенной печки живут некие добрые домовые, бородатые духи прошлого, не совсем удачно совместившиеся с нынешним днем, это для них опасно – ведь по жилью нынче стреляют, в окна кидают гранаты, с гор приносятся беспощадные «эресы», домовым в таких условиях не до жизни – впопыху подхватить ноги в руки и мотануть отсюда подальше, но здешние домовые этого не делают, они – храбрые ребята.

Нравилось тепло, которое – в отличие от дырявой бани, – умел хранить этот дом. Панков оценил это буквально на второй день пребывания здесь. Нравилась неказистая обработка стен, покой, тишь (в дни, когда граница замирала и не было стрельбы), нравилась даже неровная, разлапистая, словно бы готовая вот-вот расползтись в разные стороны печь, хотя на деле она была очень крепкой и могла в считанные полчаса нагнать в квартирку капитана африканский жар, нравились даже занавески – полосатые, словно бы вырезанные из халата, местного производства, но другие в Душанбе не продавались – эти и то нашел с большим трудом: всюду пусто, товаров нет, словно народ сидит сложа руки, ждет, когда с облаков просыпется манна небесная, и ничего не производит – только патроны... Патроны в Душанбе можно купить на каждом углу, они здесь продаются, как раньше продавался хлеб.

Раздеваться Панков не стал – снял только ботинки, бросил их у изголовья, рядом поставил автомат, положил пару гранат, отдельно – запасной рожок, фонарь, и так, в одежде, повалился на кровать – часа через полтора надлежало подниматься, сон должен быть коротким и тревожным, он, собственно, таким и был, – тревожным, серым. Панков кожей, ноздрями, порами ощущал опасность, ловил шорохи. В частности, засек странный шелестящий звук – это мимо его кровати быстро проползла змея – королевская кобра, втянувшись в нору, уводящую под печь. Ловил также скрип в камнях, чьи-то голоса и далекую тихую музыку – это солдаты в «спальном помещении» слушали приемник и тосковали по дому. Несмотря на то что Панков спал, он готов был в любую секунду потянуться к автомату и открыть стрельбу на звук. А уже потом проснуться...

Десантники прибыли на двух вертолетах – бокастых, с мятой обшивкой, грязных от гари и огня «Ми-8», быстро вывалились из машины, повыкидывали на камни несколько ящиков с тушенкой, четыре ящика макарон и три мешка муки.

«Негусто, – отметил Панков, – на такую ораву дня на три только и хватит, не больше». С боеприпасами было получше – начальство все-таки понимало, что предстоят тяжелые бои.

Командир десантников – плотный, в старом, тщательно зачиненном камуфляже, с огромными руками, способными свалить быка, подошел к Панкову, козырнул:

– Старший лейтенант Бобровский! – повернулся, подозвал к себе шустрого, со стремительными, хорошо рассчитанными движениями паренька, лицо которого напоминало лик святого – на нем застыли пронзительно синие, будто холодное южное небо, глаза, подтолкнул к Панкову: – Это мой боевой заместитель – лейтенант Назарьин. За непримиримость характера, резкость суждений и неожиданность решений мы зовем его Взрывпакетом.

– Вполне современное воинское прозвище, – Панков не удержался от улыбки. – У нас есть один такой, современный – Трассер. Рыжий, как автоматный огонь.

– Тоже ничего! – одобрил Взрывпакет. – Надеюсь, нормальный парень?

– А тут ненормальные не застревают. Мигом линяют... На Большую землю, к маме с папой.

– Хорошая линька. И таких много?

– Были, были. Но уже ни одного не осталось.

– Жаль. А то можно было бы перевоспитать.

Вертолеты задерживаться не стали, взяли лопастями каменное крошево, до самых небес взвихрили пыль, поднялись, набирая высоту, сделали пару коротких, усеченных «коробочек» над заставой и ушли, быстро превратившись в просяные хрупкие зернышки.

– А теперь всем на обед, – командовал Панков, – размещаться потом будем. У нас повар Карабанов такой шулом сготовил – м-м-м! Из кабанятины.

– На охоте были? – оживился Бобровский. – Кабанов здесь много?

– Раньше было много, а сейчас всех уже повыбили. Да и война распугала. А раньше, говорят, было много, куда ни плюнь – обязательно в кабана попадешь. Таджики их не трогали, кабаны плодились, как кошки.

– И тем не менее вы нашли?

– Выследили одну семейку, завалили секача и боцманенка. Так что кусок мяса на тощенький кусок хлеба есть.

– Я представляю, что это за кусок мяса, – Бобровский хмыкнул. – Особенно с голодухи...

– Ну что там, точат душки зубы, группируются, смазывают галоши маслом? – поинтересовался Панков у командира десантников уже в столовой, глянул в окошко, из которого был хорошо виден каменистый афганский берег. – Все целятся сюда?

– Целятся, – кивнул в ответ Бобровский, – зубы напильниками обрабатывают, чтобы острее были. Но мы им обувь живо продырявим, раз они хотят этого.

– Хотят, очень хотят... Новостей в отряде нет?

– Хороших нет.

– А плохих?

– Плохие всегда найдутся. Два сапера вчера подорвались. Мину на растяжке ставили. Один мину держал, другой растяжку регулировал. Споткнулся и упал. Растяжку потянул на себя. В результате – взрыв. Один на месте лег, второй находится в госпитале. В тяжелом состоянии. Выживет, не выживет – никто не знает.

Панков поморщился – представил себе, что сделала мина с человеком, который держал ее на руках – вместо тела сплошная мешанина, фарш, зубы перемешаны с ногтями, перемолоты с мясом... Болезненно передернул плечами.

– Самое интересное, в момент взрыва рядом сержант находился, наш же, десантник, помогал саперам, – встрял в разговор Взрывпакет, покрутил в воздухе рукой, изображая что-то сложное, – так ему хоть бы хны. Ни одной царапины.

– Повезло. Редкая штука.

– В момент взрыва он стоял за сапером, – пояснил Бобровский, – сапер и прикрыл его, все осколки взял на себя. У сержанта даже не то чтобы ни одной царапины – его даже пламя не опалило. Что повезло, то повезло.

– Все равно, от того, что он видел, инвалидом можно остаться на всю жизнь.

– Верно, – согласился Бобровский.

– Скажите, господа офицеры, вы старше меня по званию, – Взрывпакет сделал в воздухе замысловатое движение, был он совсем еще мальчишкой, только что из училища. Панков лишь сейчас разглядел, какой Взрывпакет юный, – а раз старше, то больше меня знаете. Чем отличаются «вовчики» от «юрчииков», а? До сих пор уяснить не могу.

– Ничем, – грубо произнес Бобровский.

– Знаю только, что «вовчики» – это исламисты, – сказал Панков, – так называемые «ваххабиты». Это в основном горцы, люди из бедных полуграмотных районов, а «юрчиики» – из районов богатых, из долин, где деньги растут на кустах. «Вовчики» всегда завидовали «юрчиикам» и стремились сжить их с белого света. Если же говорить с ученых позиций, то «ваххабиты» – это последователи Мохаммеда ибн Абд аль-Ваххаба, готовые идти на что угодно, даже на убийство собственных братьев, лишь бы победить. Ради победы своей они способны на все. Для них мы – кафиры, собаки проклятые, люди из черной дыры, и чем больше они нас истребят, тем милостливее будет к ним Аллах.

– А по мне, они все одинаковы. Говорят, что «вовчики» имеют поддержку президента, у гаранта. «Юрчиики» – нет. А «юрчиики» к нам более терпимы, чем «вовчики». «Вовчики»

готовы вырезать всех русских в Таджикистане, всех до единого, «юрчики» же уговаривают русских не уезжать: «Не покидайте Таджикистан!» В результате вон что получается: Ельцин поддерживает тех, кто режет здесь русских. Как это, а?

– Налить бы ему такого коньяку, чтобы он уснул и не проснулся, – яростно блеснув глазами, проговорил Взрывпакет. Видать, недаром его прозвали Взрывпакетом, заводится он мгновенно, с полуоборота.

– Что, не любишь его? – спросил Панков.

– Не его самого, а окружение. Воры все, воры! Обобрать Россию, развалить такую страну, сделать, чтобы во имя трех сотен богатых Буратино миллионы людей ходили без штанов, не имели куска хлеба на столе, нищенствовали – для этого надо иметь особые мозги.

– Вот они у него такие и есть. Не голова, а репа с грядки – произнес Бобровский напрягшимся злым голосом. Они были достойны друг друга, десантники Бобровский и Назарьин, чужих ошибок не умели прощать.

– Разные Стерлиговы, Кивелиди, Мавроди и прочие «иди» и «оди» жиреют, наедают щеки, шеи и животы, а Ивановы, Петровы, Сидоровы нищают, продают последние тряпки, продают даже ордена, чтобы купить хлеба и картошки, кое-как продержаться, пожить еще немного.

Одна защита остается – автомат Калашникова. И побольше патронов.

– И чтоб цель была видна получше, – одобрительно усмехнулся Бобровский, ковырнул пальцем грубый, через край, шов, которым была заделана у него дыра на рукаве, – видишь, до чего довели нас, капитан? Сплошь в дырье ходим. Хорошо, что еще не обовшивели, хотя мыла у нас ни одного куса нет, – он остро, цепко глянул на Панкова. – А ты, капитан, чего отмалчиваешься? Что в стороночке сидишь, на ус наматываешь?

– Бесплезно ругать. Это все равно, что мочиться против ветра.

– Тоже верно, – Бобровский отвел глаза в сторону. – А выглядишь ты лучше нас, не так оборванно.

– Все еще впереди.

– Нетипичный у тебя вид для российского солдата.

– Я же говорю – все еще впереди. Скоро нитки кончатся – буду ходить такой же оборванный, как местные бабаи.

– Нитки я тебе подарю. А шулюм у тебя отменный, хорошего повара на заставе держишь, – Бобровский со смаком облизал ложку. – В отряде узнают – заберут.

– Не отдам.

– А у тебя и спрашивать не будут, заберут, и все.

– Юра! Карабанов! – выкрикнул Панков и, увидев, что Карабанов высунулся из своего окошечка, спросил: – Если в отряд тебя будут забирать, пойдешь?

– Не-а!

– М-да! – Бобровский не удержался, досадливо крикнул. – А повар у тебя действительно на «ять». Небось, хорошие отбивные умеет делать даже из фанеры?

– Умеет, – капитан кивком отпустил Карабанова, продолжающего выглядывать из своего окошечка, потом поднял откляченный большой палец, показал его Карабанову. Добавил, засмеявшись: – Главное, на кусок фанеры кусок мяса побольше положить.

* * *

Через два дня на афганском берегу появились люди – настороженные, с крадущимися мягкими движениями, в халатах и чалмах. Они цепочкой прошли к Пянджу.

Ночь только что отползла к западу, на востоке лишь десять минут назад появилась светлая сливочная полоска, горы же на западе были еще черны и угрюмы, небо смыкалось с хребтами.

– Разведчики, – глянув на цепочку подвижных, почти бестелесных теней, пробормотал Бобровский, выматерился. – Он-ни, с-суки! – Подвернул колесико бинокля, увеличивая резкость. – Раз, два, три, семь... тринадцать... – он смолк, губы его теперь шевелились беззвучно, словно бы сами по себе, – двадцать пять человек, – объявил он, – ровно столько, сколько у меня солдат, баш на баш.

– Добавить тебе людей или сам справишься? – сухим, будто в горле у него что-то запершило, голосом спросил Панков.

– Твое дело, капитан, охранять границу – вот ее и охраняй! – грубо, скрипучим начальственным тоном произнес Бобровский. – А мое – бороться с халатами! – Голос у него смягчился: все-таки Панков был старше его по званию и уж никак не меньше по должности. – Занимайся своим делом, а я займусь своим.

Бобровский задом, будто рак, уволакивающий в нору свою добычу, выбрался из каменистого окопа, в котором они находились, щеки у него порозовели, это было заметно даже в предрассветном сумраке, взгляд оживился, потерял свинцовую жесткость, рот плотно сжался – такое преобразование всегда происходит с человеком, приготовившимся к броску, к стычке с врагом, – и, пригнувшись, помчался к длинному, топорно сработанному «опорному пункту» десантников.

Десантники оказались не мастера по части рытья, не было у них того пороха и терпения, что были у пограничников, Панков от них не мог потребовать того, что требовал от своих. Лопатой окоп для «стрельбы стоя с лошади» никогда не выроешь – тут надо брать лом, по шахтерски долбить породу, ахать и потеть от напряжения. Панков, кстати, наравне со всеми рыл окоп себе, поскольку старый, оставшийся от прежнего начальника заставы, ему не понравился, капитан выбрал место чуть выше и открытее, и взялся за лопату с ломом. Вырыл настоящий командирский, большой, поскольку при нем в любом бою находился радист с переносной рацией, а так как это был не просто окоп, а КНП – командно-наблюдательный пункт, то он обязательно еще должен быть укреплен и грязновато-серым, пористым от того, что отлит из плохого материала, бетонным поясом.

Если все окопы укреплены бетонными плитами – это хорошо, но если только один командирский, то, спрашивается, где во время боя находится командир? Задача, которую может успешно решить не только неграмотный человек в галошах, а и несмышленный ясельный ползунок, не слезающий с ночного горшка. Остается душманам только получше прицелиться из гранатомета.

Неплохо бы бетоном укрепить и окопы бойцов – всё целее ребята будут, хотя иногда бетон попадает такой, что пули в него входят, словно в сыр. Это во-первых, а во-вторых, такой бетон плохо действует на организм, руки от него все время бывают влажными, в ушах стоит звон, в носу накапливается простудная мокреть. Так что от такого бетона надо держаться подальше... Панкову повезло – он укрепил КНП нормальным бетоном.

Тени на афганском берегу на несколько минут растворились в промерзших, покрытых инеем камнях – будто под землю нырнули, потом появились вновь. Уже внизу.

Стремительно пересекли голый пятак, отделяющий камни от густых рыжих зарослей старого камыша, и исчезли в них. Через полчаса разведчики переправятся через Пяндж и окажутся на нашем берегу. Панков вздохнул, натянул на себя лифчик с запасными рожками и четырьмя гранатами, всаженными в кармашки. Боя не миновать.

Увидел, как внизу, метрах в пятидесяти от него, Бобровский рысью провел своих десантников – поджарых, быстроногих, бесшумных. Панков устремился следом за ними. Бобровский действовал грамотно, Панков и сам бы так действовал: сделал две засады, одну группу отправил в противоположную сторону, к Голубому ключу, возле которого Панков недавно был на охоте, другую отвел чуть в сторону от тропы, на которой могли, – а вообще-то должны были

– появиться разведчики, группа эта могла стремительно ссыпаться с камней и задавить противника...

Панков залег за грядой старых, поросших диковинным рыжим мхом валунов.

Ожидание перед боем всегда бывает тоскливым, мучительным – все мозги высасывает из человека, иссушает его, – человек в эти полые, наполненные лишь стуком собственного сердца минуты успевает многое передумать, многое увидеть – перед ним обязательно возникают лица из прошлого, из детства, из школьной поры, в горле от этих видений собирается что-то теплое, соленое, – то ли кровь, то ли слезы, глаза влажнеют...

Отсюда, с войны, многое видится совершенно по-другому, чем дома, – и события, происходящие в России, и люди, варящиеся в тамошнем котле, – кажется, немало из них забыли, что такое совесть, но очень хорошо знают, что такое подлость, и успешно пользуются этим, заменив одно другим, как, собственно, заменили и многие понятия, считавшиеся незыблемыми. Что такое ныне с точки зрения Москвы порядочность, добродетель, чувство локтя, верность присяге? Впрочем здесь, в Таджикистане, знают лучше, чем в Москве, что такое верность присяге. Это многие испытали на своей шкуре: и по полгода жалованья не получали, и по паре месяцев – боеприпасы с продуктами. Боеприпасы – ладно, их можно, в конце концов, отбить у противника, а вот насчет продуктов, то их и у противника нет, а в Москве почему-то считают, что пограничники запросто могут прокормиться святым духом, яйцами каких-нибудь утокосов, либо дикобразов – старших братьев ежей, у которых яиц, между прочим, не больше, чем у мужика в штанах, молитвой родному начальству да супом из фанеры. Так, собственно, и было, пока не была образована Федеральная пограничная служба.

Панков старался в минуты перед боем не думать ни о чем и ничего не вспоминать, тем более что вспоминать ему особенно нечего было – жизнь у него выдалась такая...

До капитана донесся тихий, похожий на птичий писк свисток, и прямо перед собой, странно увеличенного расстоянием, будто хорошей оптикой, он увидел душмана с прочными кривоватыми ногами, выглядывающими из-под стеганого халата, с изрезанным морщинами темным, лоснящимся от пота лицом и жидкой черной бородой, которую теребил боковой, приносящийся со стороны Пянджа ветер.

В руках душман держал пулемет с большой патронной коробкой, привинченной сбоку, и двумя легкими алюминиевыми стойками, похожими на разъезжающиеся ноги. Панков недобро усмехнулся – слишком проворным оказался душок, быстро переправился... И не один, небось, переправился, а вместе с компанией.

Душман сделал несколько шагов, остановился, осторожно глянул влево, перевел взгляд вправо, вновь сделал несколько шагов, опять остановился. Было такое впечатление, что сзади его кто-то подталкивал стволом автомата. Душман этот был не самым смелым человеком среди своей мусульманской братии и умирать за Аллаха, похоже, не собирался – жизнь ему была дороже смерти.

«Надо бы одного душка прихватить в плен, – подумал Панков, – интересно, сообразит Бобровский или постарается перебить всех до единого?» Капитан задержал в себе дыхание, взял душмана на прицел. Хотя до того было еще далеко.

Следом за первым душманом из камней показались еще двое – такие же неприметные, с печеными коричневыми лицами, в халатах и сапогах, на которые были натянуты галоши, отлитые из грубой автомобильной резины.

«Ноги промочить боятся, Пяндж одолевали на плоту, – Панков покусал какую-то горькую, пахнущую мышами травину, сплюнул, – опасаются сквозняков и насморка... как и мы, собственно. Ну, давайте, тубетейки, подгребайте поближе, разговаривать не только с помощью жестов будем...»

Панков слился с камнями, с пожухлой, жестяно потрескивающей прошлогодней травой, с серой, пробивающейся к свету на малой полоске земли порослью эдельвейсов, с угрюмой пепельностью неба, неспешно отступающей на запад, домой... Домой – это означает, что и к его дому, хотя дома у Панкова, собственно, и нет, а детдом никто никогда родным домом не считал и вряд ли будет считать. И все-таки отсюда даже детдом видится родимым кровом, жилищем, хранящим запахи предков, их шаги, таинственные уютные звуки, звонкий треск истершихся сухих половиц, тонкий ровный гул в трубе, раздававшийся, когда за окном стояла ветреная погода... Все это накапливается, собирается в каждом доме, все это – принадлежность места, где живут люди.

Но не было никогда у капитана Панкова своего жилья, лишь на этой заставе он получил две маленькие комнатенки – служебную квартиру, как говорится, вот так выпенренно это звучит, – которые и поспешил обставить по собственному разумению и вкусу. Хотя зачем ему в этой квартире холодильник – непонятно. Продуктов-то все равно нет. И электричества нет. Он гулко сглотнул собравшуюся во рту горечь. Не надо было жевать эту чертову памирскую полынь.

Хотелось есть. Кабана с боцманенком успели уже «оприходовать» – десантники помогли, – остались только косточки и копыта. Еще, может быть, – хрящики хвоста.

Из-за камней тем временем вытянулась вся душманская группа, все двадцать пять человек, – через несколько минут они миновали первую, фронтную, переднюю линию, засаду, выставленную Бобровским, двинулись к заставе. Попадись им, конечно, пограничный наряд по пути – спастись у наряда не было бы ни одного шанса. Почему-то лица у всех разведчиков были одинаковые, будто они из-под одной юбки вылезли, а потом кормились одной титькой и одним дядькой были пороты, – лишь одежда позволяла малость различать этих людей, хотя и одежда эта была без вкуса, без выдумки: один халат, как тюремная роба, схож с другим...

Несколько минут понадобилось Панкову, чтобы приглядеться к лицам, он понял, что лики у душманов все-таки разные: у одного овал широкий, как тыква, украшен пришлепнутой к макушке тубетейкой, у другого – узкий, заостренный на манер редьки, хвостом вниз, у третьего голова вообще похожа на кулябскую дыню, уши на плечах лежат... У одного душмана нос орлиный, с резными ноздрями, у другого – обычная нахлобучка, кусок гутапперчи, кое-как пришлепнутый к «морде лица», у третьего – чеканный римский руль, у четвертого – обычное таджикское фейсоукрашение и так далее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.